«Меня зовут Шейлок» – «Венецианский купец» эпохи телезвезд, пластической хирургии и футбольной индустрии.

ШЕКСПИР XXI ВЕК

Кавер-версия «Венецианского купца» в исполнении лауреата Букеровской премии



William Shakespeare

Теги:

Кавер-версия Пьеса
Комедия Драма
Разрыв во времени
Говард Джейкобсон
Венецианский купец
Уильям Шекспир

Автор:
ГОВАРД ДЖЕЙКОБСОН
Сегодня

Название:
Меня зовут Шейлок

Где можно встретить шекспировского героя, чтобы поговорить с ним и пригласить к себе домой?

Меня зовут Шейлок
Говард Джейкобсон

Аннотация
Говард Джейкобсон. Меня зовут Шейлок
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

XXI
XXII
XXIII
Благодарности

Аннотация

Где можно встретить шекспировского героя, чтобы поговорить с ним и пригласить к себе домой? Герой романа Саймон Струлович встречает Шейлока из «Венецианского купца» на кладбище. У двух персонажей много общего: оба богаты, у обоих умерли жены, а дочери выказывают излишнюю независимость. Это только начало сложной дружбы.

Обладатель Букеровской премии Говард Джейкобсон издевательски передает букву и дух Шекспира – с иронией и остроумием.

Говард Джейкобсон
Меня зовут Шейлок

Howard Jacobson
SHYLOCK IS MY NAME

Серия «Шекспир XXI века»

Copyright © 2016 by Howard Jacobson
First published as The Merchant of Venice by Howard Jacobson.
The Author has asserted the right to be identified as the author of the Work
© Зюликова Т., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

Посвящается памяти Уилбура Сандерса

Как получилось, что за столько лет дружбы и чтения совместных лекций о Шекспире мы ни разу не обсуждали «Венецианского купца», объяснить я бессилен. Глубоко сожалею, что мы не можем обсудить и сейчас.

ПОРЦИЯ: Который здесь купец? Который жид?
ДОЖ: Антонио, старый Шейлок, – подойдите.
ПОРЦИЯ: Зовут вас Шейлок?
ШЕЙЛОК: Шейлок – мое имя.

«Венецианский купец», акт IV, сцена 1[1]

[1] Примечания: 1

Перевод Т. Щепкиной-Куперник. — *Здесь и далее прим. перев., если не указано другое.*

I

Стоит один из тех зимних дней, обычных для февраля на севере Англии, когда больше хочется умереть, чем жить. Пространство между землей и небом напоминает узкую щель для писем, заполненную спрессованным светом, а само небо неизъяснимо банально. Неподходящая декорация для трагедии — даже здесь, среди мертвых. На кладбище всего двое посетителей, занятых исполнением обязанностей сердца[2]. Глаз они не поднимают: в этих местах человек вынужден вести с погодой войну, если не хочет сделаться героем фарса.

Следы именно такой борьбы запечатлены на лице первого из скорбящих, человека средних лет и неопределенной осанки, который то идет с горделиво поднятой головой, то сутулит плечи, словно надеется, что его не заметят. Рот его тоже непостоянен и обманчив: губы то кривятся в усмешке, то мягко приоткрыты, ранимые, как

---

[2] Примечания: 2

Отсылка к книге раввина Бахье ибн Пкуда «Учение об обязанностях сердца» (ивр. «Ховот Алевавот»), посвященной вопросам иудейской этики.

спелый летний плод. Это Саймон Струлович — богатый, вспыльчивый, мнительный филантроп, быстро увлекающийся и так же быстро остывающий. Он известен благодаря своей выдающейся коллекции старинных Библий и англо-еврейского искусства XX века; страстному увлечению Шекспиром, чей гений и внешность бесшабашного сефарда, как считал когда-то Струлович, можно объяснить только одним: прежде чем стать Шекспирами, предки драматурга носили фамилию Шапиро (впрочем, он в этом больше не уверен); почетным докторским степеням лондонского, манчестерского и тель-авивского университетов (хотя в достоинстве своей тель-авивской степени он тоже не уверен), а также сбившейся с пути дочери. Сюда он пришел, чтобы осмотреть камень, недавно воздвигнутый на могиле матери, со дня смерти которой уже прошло двенадцать положенных месяцев траура. Струлович оплакивал ее не очень добросовестно — был слишком занят продажей и покупкой картин, слишком занят своими фондами и благотворительной деятельностью, или «благодетельствованием», как со смесью гордости и беспокойства называла ее мать — боялась, как бы сын не раздал все подчистую и не пустил себя по миру, — слишком занят

мысленным сведением счетов, слишком занят дочерью. Однако Струлович намерен искупить свою вину. Никогда не поздно стать примерным сыном.

Или примерным отцом. Быть может, на самом деле он готовится оплакивать дочь? Это у них в роду. Отец тоже какое-то время его оплакивал: «Для меня ты умер!» И все из-за чего? Из-за вероисповедания сыновней невесты. А ведь отца никак нельзя было назвать человеком религиозным.

«Лучше бы ты лежал мертвым у моих ног…»

Неужели так правда было бы лучше?

Мы одержимы смертью, думает Струлович, бредя между безымянных надгробий. «Мы» — идея общности, под которой он иногда подписывается, а иногда нет. Мы приходим на новое место, неся на палке узелок со своим добром и радуясь, что живы, и тут же начинаем подыскивать, где бы похоронить предавших нас детей.

Возможно, именно злоба, которая предшествует погребению, лишает кладбище утешительной красоты. В студенческие годы, когда в словаре Струловича еще не было слова «мы», он написал работу о картине Стэнли Спенсера «Воскресение. Кукхем». Его восхищало оживленное бурление Спенсеровских могил: нетерпеливая жизнь рвет-

ся наружу, мертвые спешат навстречу тому, что ждет их впереди. Однако здесь не церковное кладбище в беркширской деревушке, здесь кладбище ветхозаконников в Гэтли, что на юге Манчестера. У местных мертвых нет никакого «впереди», все заканчивается тут.

Земля припорошена снегом, грязно-черным в тени гранитных надгробий. Он пролежит до самого лета, если лето когда-нибудь настанет.

Второй скорбящий, пришедший задолго до Струловича, нежно беседует с обитательницей могилы, надгробие которой совсем истерлось от времени. Это Шейлок, еще один озлобленный и бурный еврей; впрочем, его злоба скорее саркастического свойства, а буря стихает, когда он в обществе своей жены Лии, похороненной глубоко под снегом. Внутренне Шейлок не так раздвоен, как Струлович, но, вероятно, именно поэтому вызывает больше разногласий. Невозможно отыскать двух людей, которые были бы о нем единого мнения. Даже те, кто откровенно его презирает, презирают его с разной степенью откровенности. У Шейлока есть финансовые трудности, от которых Струлович избавлен, он не коллекционирует ни картин, ни Библий, и ему тяжело проявлять милосердие к людям, если они

не милосердны по отношению к нему, хотя именно в этом, как утверждают некоторые, и состоит вся суть милосердия. Что же до его дочери, то чем меньше о ней будет сказано, тем лучше.

В отличие от Струловича, Шейлок на кладбище не случайный гость. Он не может уйти и отвлечься, он не умеет ни забывать, ни прощать, а потому для него никогда не будет ничего другого.

Струлович, прервав свои размышления, чувствует присутствие Шейлока еще прежде, чем замечает его. Это как удар по шее — будто кто-то осквернил святость кладбища, кидаясь снежками.

До слуха Струловича долетают слова «дорогая Лия». Они падают в обледенелую могилу, точно благословение. Здесь, должно быть, много Лий. Мать Струловича тоже звали Лия. Но имя этой Лии вызывает чувство неизбывной жалости, которое Струлович, знаток в вопросах супружеской скорби и отцовского гнева, не спутает ни с чем. Лия, что еще в пору сватовства купила Шейлоку кольцо. Лия, мать Джессики, укравшей это кольцо, чтобы купить обезьяну. О Джессика, воплощение вероломства! За целую обезьянью

рощу не расстался бы Шейлок с тем кольцом[3].

Да и Струлович тоже.

Выходит, слово «мы» для Струловича все-таки что-то значит. Джессика предает и его веру.

Этих немногих признаков достаточно, чтобы узнать Шейлока — других Струловичу не нужно. В подобной встрече нет ничего неожиданного. Разумеется, Шейлок здесь, среди мертвых. Где же еще ему быть?

Одиннадцатилетний, не по годам усатый и не в меру умный Струлович бродил по большому универсальному магазину вместе с матерью, когда она увидела Гитлера, покупающего лосьон после бритья.

— Скорее, Саймон! — прошептала мать. — Сбегай за полицейским, а я останусь и прослежу, чтобы он не скрылся.

Но ни один полицейский не поверил, что в магазине Гитлер, и в конце концов фюреру удалось ускользнуть.

Сам Струлович тоже не поверил и дома позволил себе пошутить на этот счет.

— Не смей дерзить матери! — оборвал его

---

[3] Примечания: 3

«Я бы не отдал ее за целую обезьянью рощу!» У. Шекспир, «Венецианский купец». Акт III, сцена 1. Здесь и далее цитаты из «Венецианского купца» приводятся в переводе Т. Щепкиной-Куперник.

отец. — Если мать говорит, что видела Гитлера, значит, она видела Гитлера. В прошлом году твоя тетка Энни встретила на стокпортском рынке Сталина, а мне в твоем возрасте довелось наблюдать, как Моисей переплывает на лодке озеро в Хитон-парке.

— Не может быть, — ответил Струлович. — Моисей просто повелел бы водам расступиться.

За столь остроумное замечание отец отправил мальчика к себе в комнату.

— Может, это был Ной? — прокричал Струлович с верхней площадки лестницы.

— А за это, — сказал отец, — останешься без ужина.

Однако мать тайком принесла ему сэндвич, точно Ревекка Иакову.

Повзрослевший Струлович понимает еврейское воображение куда лучше — понимает, почему оно не ограничено ни хронологией, ни топографией, почему евреи никогда не могут быть уверены, что прошлое осталось в прошлом, и почему его мать, вполне возможно, действительно видела Гитлера. Струлович не талмудист, но иногда прочитывает страницу-другую из маленького, отпечатанного в частной типографии сборника лучших цитат. Прелесть Талмуда в

том, что он позволяет закоренелым бунтарям встретиться лицом к лицу и поспорить с другими, давно умершими бунтарями.

Что-что вы думаете, Раба бар Нахмани?[4] Да пошли вы!..

Существует все-таки загробная жизнь или нет? Как по-вашему, рабби?

В ответ Раба бар Нахмани, стряхнув погребальные пелены, показывает Струловичу средний палец.

«Давно» значит сейчас, а «там» значит здесь.

Только глупец рискнул бы вызвать неудовольствие Шейлока вопросом, как получилось, что Лия похоронена среди покойников Гэтли. Подробности погребения — все эти «где» и «когда» — ему в высшей степени безразличны. Она под землей — вот и все, что имеет значение. Живая, Лия была для него повсюду, и с ее смертью — Шейлок давно так решил — ничего не изменилось.

Струлович, напряженно внимательный, словно второстепенный музыкальный инструмент, настраивающийся на главный, незаметно наблюдает. Он готов простоять так хоть целый день, если придется. Судя по поведению Шейлока

---

[4] Примечания: 4

Раба бар Нахмани (282–322) — вавилонский амора (мудрец эпохи составления Талмуда), часто упоминаемый в текстах просто как Раба.

— по тому, как он склоняет голову набок, кивает, посматривает то влево, то вправо, косится в сторону, точно змея, — беседа с Лией настолько нежна и увлекательна, что Шейлок не видит ничего вокруг. Однако боли в их беседе больше нет — это теплый, но легкий, даже обыденный разговор двух близких людей. Шейлок слушает столько же, сколько говорит, обдумывает сказанное Лией, хотя наверняка не раз слышал от нее нечто подобное. В руке у него книга в мягкой обложке, свернутая трубочкой наподобие официального документа или пачки банкнот в кулаке у гангстера. То и дело Шейлок раскрывает ее, будто с намерением вырвать страницу, и вполголоса зачитывает что-то Лии, прикрывая рот ладонью, словно не хочет выставлять свое веселье напоказ. Но если это смех, думает Струлович, то ему пришлось проделать долгий путь, потому что идет он от мозга. В памяти всплывает фраза из Кафки, еще одного несчастного сына на этом поле битвы: «Такой смех, который можно издать без легких»[5]. Быть может, как смех самого Кафки. «И мой тоже?» — спрашивает себя Струлович. Смех, запрятанный слишком глубоко для легких?

---

[5] Примечания: 5

Франц Кафка, «Забота главы семейства». *Перевод С. Апта.*

Что же до шуток, если, конечно, это шутки, то они сугубо личного свойства. Возможно, не вполне пристойного.

Он здесь как дома, думает Струлович, не то что я. Как дома среди могил. Как дома в супружестве.

Его поражает разница между положением Шейлока и собственным. Матримониально-послужной список Струловича довольно неприглядный. С первой женой они умудрились превратить совместную жизнь в маленький домашний ад. Не потому ли, что она была христианкой? «Гей ин дрерд!»[6] — воскликнул отец, когда узнал, что сын женится не на еврейке. «Отправляйся в ад!» И не просто в ад, а в самый огненный его круг, куда попадают те, кто женится на девушках другого вероисповедания. В вечер перед свадьбой отец оставил на автоответчике еще менее двусмысленное сообщение: «Для меня ты умер!» Второй брак Струловича — на сей раз с дочерью Авраамовой, в честь чего отец отменил свое проклятие и назвал его по телефону Лазарем, — был внезапно и жестоко прерван, оказался в подвешенном состоянии, похожем на чувство, когда ждешь новостей и надеешься, что они не при-

---

[6] Примечания: 6

Дословно: «Иди в землю» (*идиш*). Распространенное проклятие.

дут. На четырнадцатый день рождения дочери у жены Струловича случился инсульт, она почти лишилась памяти и способности говорить, а сам он обесточил ту часть сердца, которая отвечает за супружеские чувства.

Вот тебе и супружество! Теряешь либо отца, либо жену.

Чувство жалости к себе знакомо Струловичу не понаслышке. Лия для Шейлока жива в большей степени, чем бедная Кей для меня, думает он и впервые за день замечает, какой стоит холод.

Присмотревшись, Струлович обращает внимание, что спина и плечи Шейлока напряжены. Ему вспоминается герой старого комикса, боксер (или, быть может, рестлер?), которого всегда окружали волнистые линии, изображающие силовое поле. «Интересно, а как нарисовали бы меня? — думает Струлович. — Какими символами можно передать мои чувства?»

— Только представь себе! — говорит Шейлок Лии.

— Что «представь себе», любовь моя?

— Что можно завидовать Шейлоку.

Какой же у нее чудесный смех!..

На Шейлоке длинное черное пальто, полы которого он придерживает, чтобы не испачкать

в снегу. Шейлок сидит на складном табурете вроде тех, которые берут с собой на фестиваль в «Глайндборне»[7] любители оперы. Беседуя с Лией, он слегка подается вперед, однако не настолько, чтобы помять пальто. Струлович не может определить, о чем свидетельствует его шляпа. Сам Шейлок сказал бы, что ее единственное предназначение — согревать ему голову. Однако широкополая фетровая шляпа с лентой — примета человека, заботящегося о своей внешности. Шляпа денди. Она могла бы придать владельцу шутливо угрожающий вид, если бы в лице его присутствовал хотя бы намек на веселье или воспоминание о нем.

Наряд Струловича более строг: плащ развевается наподобие стихаря, белоснежная рубашка застегнута под самое горло, галстука нет — стиль «современное кватроченто». Шейлок выглядит менее утонченно и производит впечатление человека нелюбезного, даже опасного. Его можно принять за банкира или юриста. Или за крестного отца.

Струлович рад, что пришел почтить останки

---

[7] Примечания: 7

Фестиваль в «Глайндборне» — ежегодный оперный фестиваль в имении «Глайндборн», графство Суссекс, принадлежавшем известному меценату и учредителю фестиваля Джону Кристи.

матери. Не в награду ли за это стал он свидетелем беседы у могильной плиты? Так вот что дается примерным сыновьям! Надо было попробовать раньше. А может, дело в другом? Может, человек видит только то, что способен увидеть? В таком случае искать бессмысленно: нужно ждать, пока желаемое само к тебе придет. Его посещает мимолетная фантазия, что Шекспир, предки которого, быть может (на большем он не настаивает), носили когда-то фамилию Шапиро, тоже терпеливо ждал, пока Шейлок придет к нему сам. Возвращаясь из театра, беседуя с призраками и записывая что-то в блокнот, Шекспир отвлекается ровно настолько, чтобы заметить, как Антонио плюет в объект всеобщего презрения — жида.

— Не может быть! Еврей! Не ты ли это, родич? — спрашивает Шекспир.

Дело происходит в очищенной от евреев Елизаветинской Англии, отсюда его удивление.

— Ш-ш-ш! — шепчет еврей.

— Шейлок! — неосторожно восклицает Шекспир. — Кузен мой Шейлок, будь я христьянином!

Шапиро, Шекспир, Шейлок. Одна большая семья.

Жаль, что сам он к ней не принадлежит: в его фамилии нет этого «ш-ш-ш».

Так и ли иначе, Струловичу ясно, что главное — восприимчивость, и те, кто ищет специально, попусту теряют время. На Лидо[8] есть живописное еврейское кладбище, некогда заброшенное, а недавно открытое вновь в соответствии с новоевропейской модой все реставрировать. В это охраняемое кипарисами место печального полумрака и неожиданных полос беспощадного света не раз совершал паломничество один его знакомый, страстный борец с несправедливостью, уверенный, что если не сумел обнаружить мертвого Шейлока среди поедающих мороженое туристов в венецианском гетто, то непременно отыщет его здесь, сломленного и обозленного, среди разрушенных надгробий. Увы. Великий немецкий поэт Гейне, испытывавший столь же сильную неприязнь к слову «мы», как Струлович, а на следующий день столь же в него влюбленный, однажды объявил не менее сентиментальную и безуспешную охоту за мечтой.

Однако охота на Шейлока, в истории которого столько незавершенного и неискупленного, не прекращается никогда. Офелия-Джейн, помешанная на евреях христианская жена Саймона

---

[8] Примечания: 8

Лидо — цепочка песчаных островов, отделяющих Венецианскую лагуну от Адриатики.

Струловича, однажды видела, как Шейлок прихрамывая спускается по ступеням моста Риальто, держа в руке сумку якобы от «Луи Виттон», набитую часами якобы от «Данхилл». Они ужинали на берегу Гранд-канала: это был их медовый месяц, и Офелии-Джейн хотелось сделать для новоиспеченного мужа что-нибудь по-еврейски приятное (Струлович не рассказал ей, что отец вербально похоронил его накануне свадьбы — так никогда и не рассказал).

— Смотри, Сай! — воскликнула Офелия-Джейн, дергая его за рукав.

Струлович всегда очень трепетно относился к одежде, и привычка жены дергать за рукав его раздражала. Вероятно, поэтому у него ушла целая вечность на то, чтобы повернуть голову. Когда же наконец он поглядел туда, куда она указывала, смотреть было уже не на что.

В надежде, что видение повторится, жена таскала его к мосту каждый вечер — до самого конца свадебного путешествия.

— Ой гевальто[9] — мы опять на Риальто! — не выдержал он наконец.

Офелия-Джейн закрыла лицо руками. Как мож-

---

[9] Примечания: 9

От восклицания «Ой гевалт!» — «О ужас!» (*идиш*).

но быть таким неблагодарным и несерьезным?! Со дня их свадьбы прошло всего пять дней, а она уже ненавидела эти его простонародные идишизмы. Они умаляли то величие, которое Офелия-Джейн прочила им обоим. Это она предложила поехать в Венецию — хотела вернуть Струловича к корням. Выбор вполне мог бы пасть и на Кордову. Офелия-Джейн вышла за него, чтобы приобщиться к трагической судьбе израильского народа, к бедствиям благородной латинской расы, а он со своими «ой гевальто» переносил ее прямехонько в вонючую балто-славянскую деревушку, населенную неотесанными мужланами с тупыми лицами.

— Только не говори, что я вышла за балагура! — взмолилась Офелия-Джейн на обратном пути в отель. Шагая рядом, Струлович чувствовал, как она вся дрожит, словно пятимачтовый парусник. — Только не говори, что ты остряк!

На площади перед церковью Санта-Мария Формоза Струлович остановился и привлек жену к себе. Он мог бы рассказать ей, что церковь построена в 1492-м — в том же году, когда евреев изгнали из Испании. Он мог бы шепнуть: «Поцелуй меня, дорогая. Поцелуй меня в знак примирения». И она бы поцеловала его, представляя, как он поки-

дает Толедо вместе со слугами, как в последний раз молится в синагоге Ибн-Шошана — прямой, горделивый, не пожелавший отказаться от веры предков. Да, она бы запечатлела помадную звездочку на благородном челе своего чернобородого мужа-идальго. «Ступайте, господин мой! Не теряйте мужества, и да пребудет с вами Бог Авраама и Моисея. В свой срок я последую за вами вместе с детьми». Однако Струлович не сказал ничего подобного. Вместо этого, упрямо строя из себя шута, он дохнул ей в лицо селедкой, пельменями и борщом, безысходностью деревень, лишенных света и знания, и несуразными суевериями недалеких Мойше и Менделей.

— Торговец тесьмой Хаим Янкель, — начал Струлович, прекрасно сознавая, как мало ее позабавит такое имя, — жалуется представителю «Харродса»[10], что тот ничего у него не покупает. «Хорошо, — говорит закупщик, — пришлите мне столько тесьмы, чтобы хватило от кончика вашего носа до кончика пениса». Через две недели в «Харродс» приходит тысяча коробок с тесьмой. «Вы что, совсем обалдели?! — кричит в трубку закупщик. — Я просил столько тесьмы, чтобы хва-

[10] Примечания: 10

«Харродс» — один из самых фешенебельных универсальных магазинов Лондона.

тило от кончика вашего носа до кончика пениса, а вы прислали целую тысячу миль!» — «Дело в том, — отвечает Хаим Янкель, — что кончик моего пениса остался в Польше».

Не веря своим ушам, Офелия-Джейн — хорошо сложенная, изящная и тоненькая, как мальчик — с ужасом уставилась на Струловича. Ее большие, пожалуй, даже слишком большие для маленького лица глаза превратились в два темных озера боли и изумления. «Такое чувство, — подумал, заглядывая в них, Струлович, — что я сообщил ей о смерти близкого человека».

— Вот видишь, — сказал он с раскаянием, — тебе нечего бояться: остряк из меня никакой.

— Хватит! — взмолилась она.

— Хватит о Польше?

— Не смей даже заикаться о Польше!

— Но, Офелия, моя семья…

— Твоя семья родом из Манчестера! Или, по-твоему, это недостаточно ужасно?

— Если бы я заменил Польшу на Манчестер, получилось бы несмешно.

— Мне и так несмешно! У тебя все анекдоты несмешные!

— А как же тот, в котором врач велит Мойше Гринбергу перестать мастурбировать?

Церковь Санта-Мария Формоза, должно быть, слышала немало вздохов, но немного среди них было столь же горестных, как вздох Офелии-Джейн.

— Я прошу тебя! — простонала она, сгибаясь чуть ли не пополам. — Я на коленях тебя умоляю: никаких больше анекдотов про твое хозяйство!

Она отшвырнула от себя это слово, точно настырные домогательства грязного, плохо пахнущего незнакомца.

— Хозяйство мне как детская забава[11].

Вот единственный ответ, который пришел ему в голову.

— Значит, пора перестать с ним забавляться.

Струлович продемонстрировал обе руки.

— В метафорическом смысле, Саймон!

Ей хотелось расплакаться.

Струловичу тоже.

Жена к нему несправедлива. Он? Забавляется? Как могла она до сих пор не понять, что в нем нет ни грамма забавного?

А это «хозяйство»… Почему она выбрала такое слово?

---

[11] Примечания: 11

Слегка измененная цитата из пьесы Уильяма Шекспира «Отелло»: «Дом и хозяйство — вам как детская забава». Акт II, сцена 1. Перевод В. Рапопорта.

Еще и в медовый месяц…

Это прибежище скорбей, а не хозяйство. Предмет бесчисленных комических историй — единственно потому, что в нем нет ничего комичного.

Струлович процитировал ей Бомарше:

— Я тороплюсь смеяться, потому что боюсь, как бы мне не пришлось заплакать[12].

— Тебе? Заплакать? Да ты вообще помнишь, когда в последний раз плакал?!

— Я и сейчас плачу. Евреи, Офелия-Джейн, шутят, когда им не смешно.

— Тогда из меня получилась бы прекрасная еврейка, потому что мне тоже не смешно.

Когда матери видят, что сделали с их мальчиками, молоко скисает у них в груди. Юный Струлович, лавирующий между мировыми религиями, узнал о данном факте в саду на приеме, который давал праправнучатый племянник кардинала Ньюмена[13]. Сообщила ему об этом по-

---

[12] Примечания: 12

Пьер Огюстен Карон де Бомарше, «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность». Действие первое, явление II. *Перевод Н. М. Любимова.*

[13] Примечания: 13

Ньюмен, Джон Генри (1801–1890) — центральная фигура в религиозной жизни Великобритании викторианского периода. Англиканский священник, преподаватель Оксфордского университета. В 1841 г. принял католичество, в 1879 г. возведен в сан кардинала.

следовательница бахаизма[14] Евгения Карлофф — психиатр, специализирующийся на душевных травмах, полученных ребенком и его семьей в результате обрезания.

— У всех матерей скисает молоко? — уточнил Струлович.

— У значительного числа матерей с твоими религиозными убеждениями, — последовал ответ. — Тогда, кстати, понятно, почему они так нянчатся со своими сыночками — пытаются искупить двойную вину. Сначала позволили пролить кровь, потом лишили молока.

— Лишили молока? Шутишь?

Струлович был уверен, что его кормили грудью. Временами ему казалось, что до сих пор кормят.

— Все мужчины с твоими религиозными убеждениями считают, будто получали достаточно материнского молока.

— По-твоему, я получал его недостаточно?

Евгения Карлофф оглядела его с ног до головы.

— Точно сказать не могу, но подозреваю, что нет.

— Я похож на недокормленного?

---

[14] Примечания: 14

Бахаизм, или бахаи — монотеистическое религиозное движение, зародившееся в 60-е годы XIX века на основе ислама и проповедующее единство всех религий.

— Едва ли.

— Тогда, быть может, на обделенного?

— Скорее, вовсе лишенного.

— Ну, это дело рук отца, а не матери.

— Ох уж эти палачи, которых мы зовем отцами! — сказала Евгения Карлофф, постукивая себя пальцем по носу. — Сначала увечат сыновей, потом мучают.

Похоже на правду, подумал Струлович. С другой стороны, отец любил смешить его забавными историями и неприличными анекдотами. А еще рассеянно ерошил ему волосы, когда они вдвоем шли по улице. Струлович сообщил об этом Евгении Карлофф, но она только покачала головой.

— Отцы не любят сыновей. По крайней мере, не в полном смысле слова. Они остаются за кулисами той извечной рождественской мистерии о вине и искуплении, начало которой сами же положили. Постоянно не у дел, постоянно обозленные, они пытаются загладить свою вину грубоватой лаской и забавными историями. Таковы горькие узы, связывающие их друг с другом.

— Отцов с сыновьями?

— Нет, мужчин твоих религиозных убеждений с анекдотом и пенисом.

«Нет у меня никаких религиозных убежде-

ний, — хотел ответить Струлович. — Меня только предстоит убедить».

А вслух пригласил ее на ужин.

Евгения громко расхохоталась.

— Думаешь, мне охота все это расхлебывать? Думаешь, я ненормальная?

Бедная Офелия-Джейн, видимо, была ненормальной. Она делала все возможное, чтобы сохранить их брак, однако в конце концов у нее опустились руки: Струлович оказался безнадежен. В душе он был с ней согласен — знал, что смущает и даже пугает окружающих. Виной всему ядовитое зубоскальство и черная ирония. Свой он или чужой? Остряк или нет? За эту мучительную неуверенность приходилось расплачиваться всем, кого он знал, в особенности Офелии-Джейн.

— Знаешь, ты мог бы просто меня любить, — печально сказала она в тот день, когда они решили развестись. — Я была готова на все, лишь бы сделать тебя счастливым. Ты мог бы просто быть со мной и радоваться жизни.

Он обнял ее в последний раз и сказал, что ему очень жаль.

— Такие уж мы, ничего тут не поделаешь.

— «Мы»!

Последнее слово, которое она произнесла, прежде чем от него уйти.

Во всем этом Струловичу виделось одно маленькое утешение: поженились они почти что детьми, расстались тоже. Можно забыть друг о друге и начать сначала — у обоих практически вся жизнь впереди. А еще они не успели обзавестись собственными детьми — главной причиной всех разногласий.

Однако сам развод стал источником горечи для них обоих, и в конце концов Офелия-Джейн не сдержалась. Она твердо верила, что евреи жестоко опорочены, однако когда ей на подпись прислали окончательную версию соглашения, заклеймила еврейский народ в лице своего мужа все тем же извечным клеймом.

— Ну что, доволен? — спросила она, когда он снял трубку. — Получил свой фунт мяса?

Это оскорбление глубоко задело Струловича. Он еще не был так баснословно богат, как теперь, однако зарабатывал гораздо больше Офелии-Джейн. То, что он не тратил на жену, даже в те далекие годы шло на благотворительные фонды, учрежденные с ее благословения и носящие ее имя. Струлович полагал, что соглашение составлено более чем великодушно, и знал: в глубине

души Офелия-Джейн с ним согласна. Тем не менее, вот оно, древнее позорное пятно. Офелия-Джейн не сумела сдержаться, а значит, запятнала саму себя.

Телефонная трубка у него в руке превратилась в гадюку. Он бросил ее на пол — не от злости, а от ужаса.

На следующий день он написал Офелии-Джейн, что с этих пор готов общаться только через адвокатов.

Но и женившись во второй раз, Струлович не мог ее забыть. Вопреки замечанию о фунте мяса? Он и сам не знал — вопреки или благодаря.

Кто над чайником стоит, у того он не кипит. Шейлок, за которым украдкой наблюдает Струлович, продолжает бубнить себе под нос, будто закипающий чайник. Отвлекает его не шум, а тревожность, беспокойство, неврастеническое возбуждение. На этот раз исходят они от Струловича. Чувствуя его присутствие, Шейлок слегка меняет позу, его уши едва заметно подергиваются. Точь-в-точь египетское божество в образе кота.

— Что же с нами делать? — спрашивает он Лию.

— С нами?

— С нашим народом. Мы безнадежны.

— Никто не безнадежен. Прояви сострадание.

— Я должен действовать не из сострадания, а из солидарности.

— Тогда прояви солидарность.

— Пытаюсь, но они испытывают мое терпение.

— В тебе нет ни грамма терпения, любовь моя!

— В них тоже. Особенно по отношению к себе. Они уделяют гораздо больше времени тем, кто их ненавидит.

— Тише…

Трагедия в том, что она не может погладить его по шее — заставить волнистые линии исчезнуть.

Когда Лия носила под сердцем ребенка, она часто звала Шейлока и клала его руку себе на живот, чтобы он почувствовал, как малыш пинается. Ему нравилось думать, будто маленькому человечку у нее внутри не терпится поскорее к ним присоединиться.

«Джессика, дитя мое…»

Теперь тем же способом дает знать о своем присутствии сама Лия. Легчайший толчок, словно глубоко под ним роет норку какое-то маленькое подземное создание. Хорошо сказано, старый кротик, думает Шейлок. Он понял, что значит этот толчок. Ей никогда не нравилось, как жестоко

он обращается с окружающими. Шейлок любил дразнить. Загадывать загадки. Заставлять людей ждать и приходить к нему первыми. Сейчас он играл в ту же игру со Струловичем: делал вид, будто не подозревает о его присутствии, проверял на стойкость. Поэтому жена и напомнила ему о взятых на себя обязательствах.

Когда Шейлок обернулся, Струлович заметил, что его подбородок и щеки покрывает щетина. В лице Шейлока не было ни намека на мягкость, однако в обществе жены черты его светлели, а в жестоких складочках вокруг глаз теплился след мрачного веселья.

— Ага! — Шейлок закрыл книгу, которую читал жене, свернул ее трубочкой и с нарочитой неспешностью спрятал во внутренний карман пальто. — Именно такой человек мне и нужен.

II

В большом старинном доме, равноудаленном от Моттрам-Сент-Эндрю, Элдерли-Эдж и Уилмслоу[15] — в самом сердце района, до сих пор известного среди агентов по продаже недвижимости как Золотой треугольник, — жил университетский профессор, который курил травку и постоянно мелькал в СМИ, хотя не одобрял ни курения травки, ни СМИ. Наследник фармацевтических магнатов, выступавший за перераспределение всех материальных благ, кроме своих собственных, утопист, не веривший в общественный прогресс, поклонник григорианских хоралов, с детства мечтавший стать рок-звездой, эксцентричный любитель старины, покупающий сыновьям спорткары, чтобы они уродовали на них те самые сельские дороги, за сохранение которых он ратовал. Может показаться, будто речь идет о целом множестве людей, однако всех их вмещал в себе один человек — нервный комок

[15] Примечания: 15

Моттрам-Сент-Эндрю, Элдерли-Эдж, Уилмслоу — названия населенных пунктов в графстве Чешир. Входят в Золотой треугольник — один из наиболее дорогих и фешенебельных районов Англии, где живут многие знаменитости.

идеалистической зависти.

— Иногда, — говорил он студентам Стокпортской школы бизнеса, где занимал должность декана, — даже счастливым и одаренным кажется, будто жизнь их сдана в ломбард необъяснимой грусти.

— Да что вы говорите! — хмыкали у него за спиной студенты.

Для Питера Шелкросса, кавалера Ордена Британской империи, каждый день ничем не отличался от всех остальных. С утра — радиоинтервью в прямом эфире на любую предложенную тему, днем — лекция «Меркантилизм и разобщенность» (каждую вторую неделю название менялось на «Деньги и одиночество»), а вечером — возвращение домой, в сердце Золотого треугольника, где его ждал неразбавленный шотландский виски, и где он мог с комфортом негодовать на Струловичей и им подобных, завладевших всеми соседними особняками и домами, стилизованными под старинные жилища пасторов. Негодовал Питер Шелкросс каждый вечер, в одно и то же время, в одних и тех же выражениях и с одним и тем же жгучим чувством в груди. Привычка нисколько не охлаждала его пыл. Только того, кто сам пользуется привилеги-

ями, которые способно дать крупное состояние, может до такой степени раздражать чужое богатство. Разница заключалась лишь в том, что свое состояние Питеру Шелкроссу не пришлось зарабатывать собственным трудом, что тоже почему-то вызывало у него смутное раздражение.

— Ничего не чувствуете? — спрашивал Питер Шелкросс у гостей, распахивая двери в сад, а когда у них кончались версии — кто-нибудь жжет листья в соседнем графстве, лошадиный навоз, неисправная канализация, пыль пустыни Сахары, — он потирал палец о палец и говорил: — Нет, не то. Душок, который чувствую я, скорее напоминает запах металла. Презренного металла.

Хотя Питера Шелкросса беспокоило соседство презренного металла и то воздействие, которое оно оказывало на качество воздуха, живые изгороди и его единственную дочь по имени Анна Ливия Плюрабель[16] Клеопатра Прекрасное Пленяет Навсегда[17] Кристина, где Кристина — имя легкомысленной модели, на которой он имел

---

[16] Примечания: 16

Анна Ливия Плюрабель — героиня романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнигану».

[17] Примечания: 17

«Прекрасное пленяет навсегда» — первая строка поэмы Джона Китса «Эндимион». *Перевод Б. Пастернака.*

неосторожность жениться и влияние которой распространялось на всю его персону, от макушки до белых носков в цветную полоску и модных остроносых туфель на толстой каучуковой подошве, — Шелкросс тем не менее похвалялся перед коллегами, что живет по соседству с поп-звездами и футболистами. Лицемерие тут ни при чем, поскольку вполне можно похваляться и в то же время презирать.

— Если ты хотела жить, как поп-звезда, надо было сбежать с поп-звездой, — сказал Питер Шелкросс Кристине, когда чеширская полиция нагрянула на вечеринку, больше похожую на оргию, которую та устроила в честь шестнадцатилетия Плюрабель. Вообще-то это ему следовало бы сбежать с поп-звездой. А еще лучше, самому стать поп-звездой.

Причиной неприятного визита полицейских стал не изоамилнитрит, а слишком громкая музыка. Вызвал их не кто-нибудь, а ритм-гитарист, живший в полумиле от Шелкроссов. Он, видите ли, не может репетировать — не слышит собственной игры. Даже самые шумные имеют право на тишину. Таков закон.

Через неделю, тщательно обдумав слова мужа, Кристина Шелкросс последовала его совету,

хотя побег в данном случае означал всего лишь переезд на другой конец загона, где, словно пионы на клумбе, постоянно расцветали новые поп-звезды.

— Отсюда мне легко будет приглядывать за Плюрабель, — сказала Кристина мужу, — и все-таки я бы предпочла, чтобы воспитывал ее ты. Девочке нужен отец. И потом, она любит тебя больше, чем меня, — в этом вы схожи.

В разладе с самим собой, униженный Кристиной, разочарованный в сыновьях, устроившихся на работу в банки, которые имели дерзость обанкротиться, подавленный циничностью студентов, возмущенный социальной деградацией Золотого треугольника и уверенный, что вслед за родителями все равно умрет рано, Шелкросс оставил своим адвокатам инструкции, как позаботиться о судьбе Плюрабель.

«Учитывая размер ее состояния и мягкость характера, Плюри может пасть жертвой первого же кровопийцы, который попадется ей на пути, — писал он юристам. — Ниже приведен список испытаний, которым должен быть подвергнут каждый претендент на ложе моей дочери. Любому, кто попытается добиться ее иным путем, следует иметь в виду, что у моей семьи длинные

руки, способные достать его как в местах дольних, так и горних».

Отправив подробнейшие указания, Питер Шелкросс вышел в сад «Старой колокольни» — его собственная колокольня, разумеется, была действительно старой, — лег под вторым по древности дубом в Чешире, заткнул себе нос бумажными салфетками, чтобы не чувствовать вони презренного металла, принял смертельную дозу таблеток, которые в течение полувека продавала по несуразно высокой цене его семья, и скончался.

Немыслимо богатая и столь же независимая, Плюрабель пролила немало слез, ибо унаследовала от отца ген грусти. Она выждала приличествующий срок, прежде чем набралась храбрости прочесть придуманный отцом тест, который вручили ей в большом желтоватом конверте адвокаты. Академический отпуск — так назвала она этот приличествующий срок. Время, чтобы попутешествовать, подумать, познакомиться с интересными людьми, увеличить грудь и слегка усовершенствовать лицо.

По прошествии года Плюрабель, казавшаяся теперь одновременно моложе и старше своих лет и самую чуточку похожая на азиатку, вскрыла кон-

верт канцелярским ножом с рукояткой из рога одного из тех носорогов, ради которых периодически шествовала по центру Манчестера, спасая их от вымирания. Не в силах понять, почему идеальный спутник жизни должен перечислить три крупнейших обмана XX века, назвать пятьдесят самых богатых «иностранных» семей в Великобритании, а также предложить осуществимый план убийства Тони Блэра, Плюрабель выбросила письмо с отцовским тестом в корзину для бумаг и принялась изобретать собственные, более подходящие испытания, чтобы найти мужчину своей мечты. На свой двадцать первый день рождения она посетила свингерскую вечеринку в Элдерли-Эдж, предварительно удостоверившись, что мать туда не собирается. Плюрабель пришла в костюме и очках гонщика Формулы I, позвякивая ключами от трех своих автомобилей. Были это «фольксваген»-«жук», «БМВ альпина» и «порше каррера». Завладев вниманием большинства гостей, она бросила ключи в ведерко со льдом, а сама вышла на улицу, села в «фольксваген» и стала ждать. Так как дело происходило в Чешире, Плюрабель не слишком удивилась, что среди гостей вспыхнула драка за «БМВ» и «порше», но никто не последовал за ней к «жуку». И все же

она чувствовала, что получила бесценный урок: ослепленные внешним великолепием и блеском, мужчины не способны не то что оценить, но даже увидеть внутреннее содержание. Плюрабель стала на год лесбиянкой, получила наставления в духовной жизни от монахини, которая когда-то была секретарем ее отца, попробовала себя в модельном бизнесе, журналистике, кинетической скульптуре и фотографии, уменьшила грудь и наконец решила открыть в бывшей конюшне «Старой колокольни» ресторан, хотя и не обладала кулинарными способностями.

Ресторан она назвала «Утопия». Задумывался он как важнейшая часть того эксперимента по обустройству идеалистической жизни, который отец часто с ней обсуждал, но так и не успел воплотить в действительность. Гости могли остаться на ночь или даже на выходные, участвовать в поисках сокровищ, играть в крокет, влюбляться и расставаться, упражняться в галантности, посещать всевозможные оздоровительные процедуры, от аюрведического массажа до консультирования семейных пар, — сама Плюрабель, много лет практиковавшаяся на родителях, служила превосходным посредником между раздраженными супругами, — осуждать

богатство, хотя пребывание в «Утопии» могли позволить себе только богатые, и, конечно же, наслаждаться едой, в которой добросовестная старательность сочеталась с расточительностью. Картофельная запеканка, подаваемая с шампанским «Круг Кло д'Амбоне». Белые трюфели Альбы с водой из-под крана. Как сообщила Плюрабель репортеру журнала «Чешир лайф», она с удовольствием включила бы в меню и собственную драгоценную девственность, но пока не нашла способ отличить достойного покупателя от недостойного.

Несмотря на фотогеничную, словно у беспризорного мальчишки, внешность, вздернутый носик, губы, похожие на клюв мультяшной уточки, золотые локоны, грудной, с легкой хрипотцой голос, вызывающий в памяти жужжание пойманной между оконными рамами пчелы на исходе лета, и фигуру, как у скандинавской ведущей прогноза погоды, Плюрабель Шелкросс тем не менее унаследовала от отца его восхищенное недоверие к СМИ. Нет, она не собирается снимать передачу о выходных в «Утопии». А с другой стороны, если это будет целая серия передач, то почему бы и нет? На предложение разыграть свою девственность в прямом эфире Плюрабель ответила с той

же смесью щепетильности и готовности, причем в конечном итоге победило и то, и другое. Чтобы зрительский интерес не остыл, лучше сохранить интригу и оставить открытым вопрос, найдет в конце концов Плюрабель подходящего мужчину или нет. Каждую неделю она будет придумывать новые испытания, и каждую неделю претенденты на ее руку и сердце будут их проваливать. Серию за серией Плюрабель смеялась, плакала, дурачилась, готовила несъедобные блюда и служила арбитром — не только для желающих сразиться за нее поклонников, но и для прочих гостей. Передача о еде и любви незаметно превратилась в передачу о разрешении споров. Новое шоу под названием «Кулинарный советник» имело потрясающий успех. Семейные пары, друзья, даже заклятые враги приходили со своими неурядицами за стол к Плюрабель, где она подавала им восхитительные блюда, приготовленные за кулисами кем-то другим, и выносила вердикты, считавшиеся обязательными к исполнению — по крайней мере, в договоре с телекомпанией все стороны обещали им следовать.

Подобное разбирательство не просто обходилось дешевле, чем обращение в суд или даже в арбитраж, — оно давало спорщикам почувство-

вать вкус мимолетной славы и, что еще более соблазнительно, неподражаемой проницательности Плюрабель. И какая разница, выиграл ты спор или проиграл?!

Для тех же, для кого прославиться было не так важно, как отстоять свою правоту, окрыленная успехом Плюрабель создала интерактивный чат под названием «Перебранка», где спорщики могли представить на суд британской общественности любые разногласия. «Не могу же я решать все и за всех», — заявила Плюрабель друзьям. Увы, британская общественность оказалась слишком беспощадным судьей даже на собственный вкус. Сайт потонул в потоках брани, а Плюрабель вновь пришлось решать все и за всех — в прежней гуманной манере, когда не имеет никакого значения, решено что-то или нет.

Жизнь — игра, и Анна Ливия Плюрабель Клеопатра Прекрасное Пленяет Навсегда Мудрее Чем Соломон Кристина была ее распорядителем.

Но какое же все-таки проклятие эта грусть!

Мать Плюрабель считала, что для девушки, недавно потерявшей отца, грустить естественно. Однако Плюрабель пыталась найти более глубинную причину. Или же более поверхностную. Словом, какую-нибудь другую.

В этом мать ничем не могла ей помочь.

— Философия не входит в мою материнскую компетенцию, — сказала она. — Почему бы тебе не посетить курсы грусти в Уилмслоу?

— Потому что я хочу не научиться, а перестать грустить.

— Именно этим там и занимаются — я просто не так выразилась. Что-то вроде «Анонимных алкоголиков», только для богатых и грустных.

— А мне придется встать и сказать: «Здравствуйте! Меня зовут Анна Ливия Плюрабель Клеопатра Прекрасное Пленяет Навсегда Кристина, я садистка, и мое состояние составляет более двадцати миллионов фунтов стерлингов»? Если придется, я не пойду.

Мать пожала плечами. Она считала, что дочери нужно завести любовника. С любовником грустить некогда.

Несмотря на первоначальное отторжение, на курсы Плюрабель все-таки пошла. Возможно, в глубине души она сама надеялась найти там любовника, хотя, видит Бог, ей вполне хватало собственной грусти. Чтобы остаться неузнанной, она надела на голову платок, отчего казалось, будто у нее болят зубы. Большинство остальных тоже постаралось изменить внешность. Нам грустно,

потому что мы знамениты, подумала Плюрабель. Однако председатель собрания предупредил, что не нужно выискивать причину собственной грусти — списывать ее на амбициозность, стресс, зависть или царящий в Золотом треугольнике дух соперничества. Им грустно, потому что им грустно. Главное, не отрицать.

За чашкой кофе Плюрабель обсудила эту идею — не искать причину собственной грусти — с элегантным мужчиной средних лет, которого заметила еще во время собрания: он сидел немного в стороне и смотрел прямо перед собой, словно печали простых смертных были ничем в сравнении с его собственными. «Д'Антон», — представился новый знакомый отчасти извиняющимся, отчасти презрительным тоном. Вблизи Плюрабель показалось, что грустно ему потому, что он гомосексуалист (или, по крайней мере, не вполне гетеросексуал), причину чего, насколько она понимала, тоже искать не следует. После долгой и обстоятельной беседы Плюрабель пригласила д'Антона в «Утопию» на одну из своих вечеринок. Будет он участвовать в съемках или нет, полностью зависит от его желания.

— Можешь привести с собой кого-нибудь, если хочешь, — добавила она.

Д’Антон приехал один, зато привез огромное стеклянное пресс-папье, в центре которого блестела слеза.

— Красиво, — сказала Плюрабель, — но все же не стоило.

Д’Антон небрежно отмахнулся. Он зарабатывал на жизнь тем, что ввозил из-за границы предметы искусства, в том числе стеклянные пресс-папье. Это, например, куплено в японской деревушке, где выдуванием стекла занимаются с XIV века и больше ничего не умеют. Плюрабель спросила, кому принадлежит слеза — человеку или животному.

— Говорят, она принадлежит тому, кто на нее смотрит, — ответил д’Антон.

После его слов они немного поплакали, обнявшись так крепко, словно хотели бы никогда не расставаться.

Д’Антон сделался частым гостем в «Утопии». Порой он оставался даже после того, как выходные заканчивались и прочие приглашенные разъезжались по домам. Они с Плюрабель находили утешение в печали друг друга.

— Наверное, тебя удивляет, что можно жить в такой роскоши и при этом грустить, — сказала как-то Плюрабель.

— Вовсе нет, — ответил д'Антон. — Я закупаю красивые вещи в Японии, Малибу, Маврикии, Гренаде и на Бали. В каждом из этих мест у меня есть дом, и в каждом мне грустно.

— На Бали я еще не бывала. Как там?

— Грустно.

Плюрабель сочувственно покачала головой:

— Могу себе представить!

А после минутного молчания добавила:

— Думаешь, это потому, что мы слишком много имеем?

— «Мы»?

— Мы. Ты и я. Люди нашего круга. Привилегированный класс.

— А разве наш класс действительно привилегированный? «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям»[18].

— Как красиво! — вздохнула Плюрабель. — И как верно! Даже плакать хочется. Пауло Коэльо часто заставляет меня плакать.

— Это сказал человек более великий, чем Пауло Коэльо.

---

[18] Примечания: 18

Первое послание апостола Павла к Тимофею, 6:10.

Плюрабель была удивлена. Она и не подозревала, что есть человек более великий, чем Пауло Коэльо.

— Нельсон Мандела?

— Апостол Павел.

— По-твоему, мы подвергли бы себя меньшим скорбям, если бы роздали все бедным?

Д'Антон не знал ответа на этот вопрос, хотя иногда ему в голову приходило, что причина грусти — его грусти, по крайней мере, — кроется не в деньгах, а в современности.

— Тебе не кажется, что ты слишком современная?

Идея эта Плюрабель понравилась.

— Слишком современная… — повторила она. — Да, ты прав. Слишком современная. Мне часто так кажется. Да, кажется! Просто раньше я этого не понимала. Слишком современная… ну конечно!

Тут ее посетила новая мысль.

— А почему австралийские аборигены и американские индейцы на канале «Дискавери» всегда такие грустные? Их-то современными никак не назовешь.

— Нет, но это другой вид грусти. Индейцев и австралийских аборигенов унижали много веков подряд. Им грустно, потому что они жертвы.

Плюрабель вспомнились виденные в журналах фотографии коренных жителей Латинской Америки. Казалось, они прожили на свете не одну тысячу лет. Маори тоже. И пигмеи. И пуштуны. Почему все они такие грустные?

— Опять же, их эксплуатировали и унижали, — ответил д'Антон.

— А евреи? Они ведь тоже старые.

Насчет евреев д'Антон не был уверен, но пообещал определиться с собственным мнением — вернее, с мнением апостола Павла.

— Думаю, евреи унижаются по собственной воле, — заявил он наконец. — Их нельзя назвать ни современными, ни жертвами. Они сами выбрали такое амплуа.

— Зачем?

— Не знаю, изъян это или тонко продуманная хитрость, но евреи всегда оказываются в центре любой драмы — неважно, человеческой или богословской. Я бы назвал их грусть политической грустью. Жалость к себе прекрасно объединяет, а эмоциональный шантаж отлично действует на других.

Плюрабель наморщила свой хорошенький лобик. Разговор был не из легких, и все же ей бы хотелось, чтобы он никогда не кончался.

— То есть евреи не считаются?

— По-моему, не считаются.

Внезапно унылое выражение исчезло с ее лица.

— Не считаются, а считают! — рассмеялась она. — Сидят и считают… считают… считают…

Довольная собственной шуткой, Плюрабель запрыгала, как девчонка.

— Надеюсь, ты не думаешь, что я хотела кого-нибудь обидеть? — спохватилась она.

Д'Антон заверил ее, что не думает, и Плюрабель захлопала в ладоши от радости.

Ему пришло в голову, что она ужасно хорошенькая, когда расшалится. Воспаленная кожа вокруг рта, словно на губах у нее постоянная простуда, неестественно широкий разрез глаз, отчего ей трудно смотреть прямо вперед. То же самое можно было сказать обо всех женщинах Золотого треугольника, однако Плюрабель обладала еще одной чертой, которой они не имели — детским желанием счастья, смешанным со страхом никогда его не обрести. Д'Антон почти жалел, что не может в нее влюбиться.

Плюрабель испытывала те же чувства. Какая жалость…

Поскольку никакие романтические узы их не

связывали, они могли быть откровенны друг с другом — по крайней мере, Плюрабель могла быть откровенна с д'Антоном. Она рассказала ему о своих ухажерах, остроумно и узнаваемо передразнивая их характерные словечки и жесты, — не о тех ухажерах, которых подбирала для передачи продюсерская компания, а о тех, что без конца появлялись и вновь исчезали в настоящей жизни. Господи, как же они ей надоели! Каждый считал, что благосклонности Плюрабель можно добиться либо подарками, либо лестью. Один купил ей сумочку «Эрмес Биркин» под цвет помады, которой она якобы пользуется. Другой преподнес помаду от «Герлен» в футляре, украшенном бриллиантом и кристаллами «Сваровски». Сама помада была того же цвета, что и любимая сумочка Плюрабель. Неужели они считают, будто ее можно завоевать пустыми словами и многозначными суммами? Она даже продемонстрировала д'Антону помаду с сумочкой. Ну, и что же он скажет?

Д'Антон сказал, что нужно составить из них ансамбль.

Плюрабель ответила, что пришла к тому же выводу.

Оба рассмеялись.

— На самом деле я другая, — сказала она.

Они опять рассмеялись.

Д'Антон практически поселился у Плюрабель на правах не то эконома, не то духовника. Когда он не ездил в Японию взглянуть на стеклянные пресс-папье, заняться ему было особенно нечем.

— Я делегирую свои обязанности, — объяснял д'Антон.

У него был вид человека, преждевременно вышедшего на пенсию. Иногда Плюрабель приглашала в гости друзей, чтобы они послушали, как он говорит о тех изысканных предметах, которые закупает, или же о красоте вообще. Скоро д'Антон сделался для нее незаменим — привлекательный, печальный, галантный, недоступный и какой-то неиспорченный. Казалось, одним своим присутствием он очищал любое пространство, в котором находился.

III

И сколько времени человек пролежит в земле, пока не сгниет?[19]

А если человек этот — женщина? Не сгниет ли он еще быстрее?

Шейлок, безутешный супруг Лии, боялся, что дело обстоит именно так: кожа такая нежная, а кости такие хрупкие…

Чтобы процесс шел возможно медленнее, а Лия оставалась живой как для него, так и для себя, каждое утро Шейлок приходил к ней на могилу, приносил фиалки или незабудки, говорил, слушал — точно так же, как при жизни. Он завтракал в обществе жены — брал с собой термос крепкого черного кофе (ей нравился запах кофе) и сэндвич с сыром, завернутый в льняной носовой платок. Шейлока не беспокоило, что на Лию падают крошки — у него возникало чувство, будто он ее кормит. Он кормил жену и в ином смысле — делился тщательно отобранными сплетнями о друзьях и знакомых, сообщал новости о Джес-

---

[19] Примечания: 19

У. Шекспир, «Гамлет, принц датский». Акт V, сцена 1. *Перевод В. Поплавского.*

сике, которые отбирал особенно тщательно и рассказывал только хорошее: какая дочка стала взрослая, как похожа на мать. В те дни, когда Шейлок полагал, что благоразумнее избавить Лию от подробностей своей деловой жизни — умолчать о близкой катастрофе, о нависающей угрозе разорения, — он просто читал ей вслух. Не об Иакове и его овцах, не о Лаване, Агари и пророке Данииле. Эти аллюзии он приберегал для христиан, прекрасно понимая, что им не по себе слышать библейские истории из уст еврея. Круг их с Лией настоящего чтения — а когда жена была жива, они читали вместе почти каждый вечер, — был гораздо шире. Они тоже могли цитировать Вергилия и Овидия, знали, что такое Сцилла и Харибда, и обсуждали учение Пифагора о душе. Чтобы Лия не закоченела, Шейлок читал ей Петрарку и Боккаччо. Со временем прочел и «Аркадию» Филипа Сидни, и «Злополучного скитальца» Томаса Нэша, и «Эпиталамию» Эдмунда Спенсера. Понемногу они добрались до доктора Джонсона, Вордсворта, Диккенса, Достоевского, великих романистов Австро-Венгрии и Америки. Главное — держать Лию в курсе и не давать ей заскучать. Ей тоже нравилось все лиричное, саркастическое, а иногда и нелепое.

— Почитай мне комедию про человека, который превратился в гада.

— «Превращение»?[20]

— Нет, любовь моя, «Майн Кампф».

И они хохотали, как одержимые.

Тем из своего окружения, кто считал подобную привязанность к жене нездоровой, Шейлок доказывал, что все как раз наоборот: только общество Лии не дает ему погрузиться в уныние, этот распространенный недуг эпохи, для которого у него больше причин, чем у многих иных. Один охвачен необъяснимой грустью, другой — беспричинной усталостью… Что же, у Шейлока есть собственные соображения по поводу источника модной хандры. Однако для него самого, а ни за кого другого говорить он не может, жизнь стала бы невыносима, если бы хоть на одно ничтожное мгновение он позволил себе забыть ту женщину, которую любил с тех пор, как впервые увидел. Шейлок принес клятву и не отступится. У него никогда не было и не будет никого другого. Если из-за этого с ним порой тяжело общаться — так тому и быть. Кто сказал, что жизнь — нескончаемый маскарад, приправленный разве что

---

[20] Примечания: 20

«Превращение» — повесть Франца Кафки.

краткими приступами грусти, которой с наслаждением предается толпа, возведшая в культ собственные чувства?

А если этот бесконечный траур плохо скажется на Джессике?

Шейлок не считал, что соблюдает траур. Как раз наоборот. Он проводил с Лией столько времени, что нужды в трауре просто не было. Шейлок прославлял свой брак, а не оплакивал. Где власяница? Где пепел? Разве он не приходит на кладбище каждое утро элегантный, точно жених?

Однако Шейлок знал, что просто уходит от ответа. Джессика, как он с гордостью рассказывал Лии, действительно подрастала. Иногда, встречая дочь на лестнице, Шейлок принимал ее за жену. У дочери есть право дарить и получать такую же безраздельную любовь, какой когда-то наслаждались и — пусть ей это кажется неестественным — до сих пор наслаждаются родители. Теперь ее черед.

Если кто-нибудь поднимал этот вопрос, Шейлок отводил глаза. Он отводил глаза, даже когда поднимал его сам, старательно глядя в противоположный угол своей совести. Ее черед! Какому же отцу приятно думать, что теперь черед дочери наслаждаться?

И с кем?

По логике их общества, Джессика была в безопасности. Дочь мерзкого жида! Да с такой кровью труднее найти девушке поклонников, чем уберечь ее от них. Кому нужно то, что принадлежит Шейлоку? Однако христиане не брезговали деньгами еврея, что бы ни думали о нем самом, и не побрезговали его дочерью. Разве позор смывается жаждой выгоды? Или, быть может, именно позор добавляет пикантности тому, чего они желают и что берут в долг, а если не могут взять в долг — просто выкрадывают?

Джессика была красивой девушкой. За ней наверняка ухаживали бы и ради нее самой, но только не в этом завистливом и алчном обществе, где каждый, кто еще не успел жениться на богачке, присматривал себе невесту с хорошим приданым. Шейлок не видел ничего неуважительного в том, что догадывался о мотивах дочериных поклонников. Наоборот, именно потому, что любил Джессику и видел — часто к собственному смущению — то, что видели в ней другие, он и стоял на страже ее счастья. Как раз любовь и делала Шейлока неловким. Мать справилась бы куда лучше, но матери Джессика лишилась. Да, дочь заслуживала мужского вни-

мания. Однако Шейлок понимал: времена нынче стяжательские, еврейка — ценное приобретение, а венецианцы — коллекционеры.

Что ж, это у них в голове моральная каша, а не у него. Она заварена на их религии, вот и пускай расхлебывают, сколько душе угодно. Однако презрение Шейлока к двуличности христиан, которые проповедуют одно, а делают другое, не спасло его, когда пришлось решать, как вести себя с Лией. Не мог же он признаться, что Джессика сбежала — превратилась в изменницу, обманщицу и воровку. И тем более не мог открыть жене, что именно украла дочь.

Скрывать правду от Лии было для Шейлока мучительно — мучительнее ножевой раны, — что бы там ни делала сырость с ее телом. Ему казалось, будто он совершает предательство сердца.

Лия до сих пор ничего не знает.

Какое счастье, думает Шейлок, какое счастье, что Джессика сбежала тогда, когда сбежала.

* * *

Дочь Саймона Струловича не сбежала — пока, по крайней мере. Если, конечно, не считать побегом отъезд в колледж. В остальном положение Струловича мало чем отличалось от положения

Шейлока. Он тоже беспокоился, что в его дочери видят ценный экзотический предмет, боялся алчности, которую она возбуждала, и того влияния, какое могла оказать на нее лесть. Плюс ко всему, он пользовался репутацией богатого ценителя искусства, мецената, покровительствующего элитным учреждениям, и сиониста — по той единственной причине, что посещал Израиль и дарил картины некоторым тамошним университетам. Струлович был достаточно тщеславен, чтобы считать подобную репутацию приманкой, превосходящей чары самой Беатрис. Боялся он не кражи — у дочери не было ключей от его подвалов. Боялся он, что ее новые знакомые по колледжу будут видеть в нем страшилище, и мнение это сделает Беатрис еще более желанным трофеем. Словом, такую девушку стоило подбить на измену — вот к чему все сводилось. В истории терроризма, разбоя и революций полно подобных примеров: дочери предают богатых отцов с неприемлемыми взглядами. Девушка, готовая переспать с врагами отца, обладает неописуемой привлекательностью и ценится гораздо выше любых рубинов и бирюзы Саймона Струловича.

Струлович был похож на Шейлока еще в одном: он тоже не мог попросить совета у жены.

Инсульт, который случился у Кей на четырнадцатый день рождения дочери, обладал слишком ужасным символизмом, чтобы действительно что-то символизировать. Всего лишь непоправимое несчастье, не более того. Судьба протянула руку и ударила наугад. То же самое могло произойти с любой другой женщиной в любой другой день. Главное, верить в это, повторял себе Струлович. Принять волю случая. Иначе начнешь себя винить, и обвинениям не будет конца.

Понемногу к жене вернулась речь — не способность говорить, а воля шевелить губами и производить неслышимые звуки. Струловичу было этого достаточно: он чувствовал, что кто-то, кого он знает, по-прежнему здесь. Кей жила теперь в постели — отдельной постели, — не могла самостоятельно мыться и есть, и у нее не всегда получалось объясняться с окружающими. В остальном же, делал вид Струлович, все оставалось по-прежнему. О Беатрис он рассказывал мало, о своем страхе за нее не упоминал вообще — не хотел давить на жену. Пусть сама решает, какие темы хочет обсуждать любыми доступными ей способами, а какие нет. В присутствии Беатрис Кей оживлялась, однако предпочитала видеться с дочерью наедине, словно они превра-

тились в две разные семьи, отдельные спицы отвалившегося колеса.

Сидя рядом с женой, Струлович неизменно смотрел сквозь нее. Позади Кей, словно в разбитом зеркале, он порой видел ту женщину, которую знал когда-то, однако улыбаться ей через комнату казалось предательством. В присутствии полустертой памяти лучше и самому не вспоминать. Так они и сидели, он — на стуле рядом с кроватью, держа ее за руку, она — глядя в никуда, лишенные прошлого и будущего, в совершенной гармонии небытия, безмолвные и бесчувственные ко всем ощущениям, словно первые мужчина и женщина, в которых Бог еще не вдунул дыхание жизни.

Никогда прежде Струлович не был так благодарен за сколоченное на продаже автомобильных запчастей состояние, которое унаследовал. Их отношения с отцом наладились. Погребение оказалось временным: когда Струлович развелся с Офелией-Джейн Смитсон, они помирились, а когда женился на Кей Комински, волна отцовской любви едва не сбила его с ног. Брак с еврейкой взамен брака с неверной: похоже, отец — во всем остальном настоящий язычник — всю жизнь только об этом и мечтал. Просто не надо

выносить сор из избы, вот и все. Струлович не возражал. Его вновь сделали наследником. И теперь, когда Кей парализовало, он понял всю значимость денег. Быть богатым необходимо. Со стороны, разумеется, казалось, что Струлович гораздо богаче необходимого — поэтому он так много раздавал, спонсировал проведение лекций, обустраивал кабинеты для занятия музыкой и расширял библиотеки, помогал выкупать произведения искусства, которые иначе покинули бы страну. Однако необходимо быть почти таким же богатым, как он, чтобы просто жить, то есть иметь достаточно большой дом, где можно выставлять картины и хранить книги, носить костюмы, сшитые итальянскими портными, пользоваться услугами личного шофера, оплачивать образование дочери и круглосуточный уход за женой. У Струловича было свое рабочее определение бедности и богатства. Любой, кто не в состоянии нанять сиделку — неважно, нужна ли она сейчас или понадобится в будущем, — просто голодранец. Наживать капитал стоит хотя бы ради того, чтобы не зависеть от милости государства. Человек работает и копит деньги, желая умереть достойно. Когда меня лишаете вы средств существованья, то отнимаете и жизнь

мою…[21] и надежду на достойную смерть.

А еще, разумеется, деньги нужны, чтобы в случае чего схватить в охапку все, что осталось от семьи, и бежать без оглядки. Даже то вспыхивающее, то затухающее еврейство Струловича в одном вопросе не затухало никогда: безопасность нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся — роковой час рано или поздно пробьет.

Каждое утро Струлович мог быть уверен, что жена умыта, дочь получает образование, а под рукой есть деньги на тот случай, если придется подкупать чиновников на границе, или же если ему самому понадобятся сиделки, а потому мог спокойно посвящать себя увлечениям. Увлечения не оставляли времени убиваться над полуразрушенным телом жены. Есть масса пользы в том, чтобы найти себе занятие, считал Струлович. По-другому, как с наслаждением объясняли Беатрис преподаватели, это называется капитализм.

Однако Струлович не упивался богатством. Он упивался, насколько такое слово вообще к нему применимо, зримым миром. «Я и так духовен, — ответил бы он всякому, кто попробовал бы

---

[21] Примечания: 21

У. Шекспир, «Венецианский купец». Акт IV, сцена 1. *Перевод О. Сороки.*

напомнить ему о высоком. — Я до такой степени духовен, что считаю материальный мир насквозь пропитанным божественностью».

А как же любовь?

Струлович не понимал, как можно любить нечто невидимое.

Это не значит, что он не любил дочь, когда не видел ее. С другой стороны, разве бывало такое, чтобы он ее не видел? Когда беспокоишься, образ любимого человека всегда перед глазами, а с тех пор, как у Кей случился инсульт — впрочем, нет, началось это гораздо раньше, — Струлович постоянно беспокоился о дочери.

Рождения своего единственного ребенка они ждали долго. Особенно мучительно ожидание давалось Кей. Она произносила избитые фразы про биологические часы, которые тикают все быстрее, и боялась, как бы время не истекло. Струлович не особенно хотел детей. Он думал, что мужчины преувеличивают, когда утверждают, будто при виде первенца сердце у них едва не разорвалось от счастья, однако с его собственным сердцем произошло именно это. Отчасти он испытывал радость за Кей. Радость, смешанную с облегчением и страхом, потому что желать чего-то так сильно, как желала она, значит напрашиваться

на разочарование или нечто худшее. Вдвойне хрупок и бесценен тот ребенок, чье зачатие зависит от чуда. Безусловно, присутствовал в его радости и обычный эгоизм. Глядя на маленькую Беатрис, Струлович видел в ней свое продолжение. Но было тут и еще нечто: ему представилось, будто Беатрис явилась в мир в Вордсвортовском ореоле славы[22], будто она — посланник божий и все еще жмурится от лучезарного блеска, который созерцала, прежде чем прийти на землю. Отсюда, в свою очередь, вытекал вопрос, что это за Бог и какое послание принесла от него Беатрис. Струлович не молился, не покрывал голову и не обматывал руку ремнем. В религиозном отношении он делал так мало, что с тем же успехом мог бы считаться язычником. Но если бы Струловичу все-таки пришлось ответить, он бы признал, что тот Бог, от сияющей славы которого щурилась его новорожденная дочь, был Богом иудеев, а не христиан — существом слишком суровым и величественным, чтобы принять человеческое рождение. Вот и все. Так начался и закончился миг, в который взгляд Струловича проник в суть вещей, однако миг этот раз и навсегда определил,

[22] Примечания: 22

Отсылка к оде Уильяма Вордсворта «Отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства».

чего он хочет для дочери. Беатрис должна выйти замуж за еврея — не потому, что Струлович презирает неевреев или хочет продолжить свою еврейскую генеалогическую ветвь, а потому, что ее жизнь началась так значительно, началась с боли утраченного величия и предчувствованного горя, которое нельзя просто взять и растратить на случайную привязанность и своевольный выбор, основанный на прихоти, мстительности, необъяснимом протесте или даже непредсказуемой любви, какой бы глубокой она ни казалась. Боль эта обязывает дать и получить взамен обещание чести и преданности, хотя будь он проклят, если знает, преданности чему. Чему-то, что Беатрис не вольна определить самостоятельно. Вот оно — завету. Это нечто, будь она мальчиком, нашло бы зримое выражение в обрезании. Нечто вроде клятвы верности, пусть Беатрис, рожденная всего час назад, не может принести ее сама. Не потому ли он, отец, должен принести клятву за нее — во имя всего, что считает священным?

«Поклянись».

И он поклялся.

Поклялся соблюсти завет.

Для начала, правда, огляделся по сторонам, не смотрит ли кто — в особенности Кей, для которой

этот миг наивысшей материнской любви был совершенен сам по себе и которая не пожелала бы омрачать его тем неведомым, что нашло на ее мужа, будь то суеверие, религиозный фанатизм, чувство еврейской общности или же торжественность, слишком великая и невыносимая для бренной человеческой плоти. Но все же поклялся.

IV

Д’Антон исполнял при Плюрабель еще одну должность: связи его оказались разнообразны и обширны, и благодаря ему в ее круг вошли люди, которых она иначе никогда бы не встретила, хотя многие из них жили по соседству. Моделей и актрис, банкиров, рэперов, знаменитых футболистов и телевизионных астрологов — словом, тех, кто приходил на ум в первую очередь, — Плюрабель могла найти и так. Если же не могла, они сами ее находили. А вот игроков в крикет и регби, бухгалтеров, архитекторов, дизайнеров, инструкторов по персональному росту и даже одного эксцентричного и прямолинейного епископа (у семьи д’Антона были давние связи в церкви) — всех этих звезд второго эшелона, не лишенных определенного блеска, поставлял ей он. Люди такого сорта платили д’Антону за то, чтобы он наполнил их дома красотой, а иногда и разыскал определенную картину. «Можете раздобыть мне что-нибудь из Сикстинской капеллы?» — просил один. «Хочу ту картину, где два гея кричат друг на друга в туалете, — заявлял другой. — Ее еще

нарисовал художник, который писал за Шекспира»[23]. Многочисленность и разнообразие его знакомств повергали Плюрабель в изумление.

Иногда, приводя на вечеринку к Плюрабель очередного гостя, д'Антон многозначительно закатывал глаза, как бы говоря, что он этого человека не знает, за поведение его не отвечает и вообще тут ни при чем, так что пусть лучше попросит охрану за ним приглядеть.

Однажды д'Антон познакомил ее с Мехди Мехди, французским чревовещателем алжирского происхождения, который скрывался от французской и алжирской полиции, поскольку его кукла проповедовала нацистскую идеологию. Сам Мехди Мехди утверждал (и, по мнению д'Антона, достаточно убедительно), что у чревовещателя нет ни собственной личности, ни собственного мировоззрения, а куклу свою он использует, чтобы вышеупомянутое мировоззрение критиковать, хотя, строго говоря, критика в его обязанности тоже не входит. Когда же репортеры поинтересовались, почему кукла Мехди Мехди вызывает такую любовь и у самого хозяина, и у

---

[23] Примечания: 23

Имеется в виду английский художник-экспрессионист Фрэнсис Бэкон (1909–1992), полный тезка философа эпохи Возрождения, которому приписывается создание пьес Шекспира.

зрителей, он не стал отвечать собственным голосом, а предоставил высказаться кукле. Да, заявила она, ее популярность привела к непредвиденным последствиям, и половина французской молодежи теперь вскидывает руку в нацистском приветствии, но уж лучше нацистское приветствие, чем звезда Давида.

Плюрабель потрясло, что половина французской молодежи изображает звезду Давида.

Д'Антон только отмахнулся.

— Он по-своему забавен. Злобен и где-то даже лжив, но в целом с ним не поспоришь. Мехди Мехди — отличное дополнение к вечеринке.

Плюрабель поняла это тонкое различие и попросила д'Антона привести чревовещателя вместе с куклой. К ее удовольствию, оказалось, что оба они прекрасно танцуют. Если бы Мехди Мехди не разыскивала полиция, она непременно пригласила бы его или хотя бы куклу к себе на передачу и устроила дискуссию с раввином — в идеале, тоже чревовещателем, чтобы их куклы могли выяснить между собой отношения.

Ни Плюрабель, ни д'Антон не могли бы объяснить, почему Мехди Мехди пользуется особой популярностью среди спортсменов, однако факт оставался фактом: французские футболисты,

побывавшие на выступлениях алжирца в подпольных кабаре Марселя, начали копировать фирменное нацистское приветствие его куклы, а вскоре их примеру последовали и футболисты Чешира, у которых считалось особым шиком подражать французам. Впрочем, единственным английским спортсменом, исполнившим этот жест прямо на поле, был Грейтан Хаусом, последний из приглашенных д'Антоном гостей.

— Грейтан — крестник моего дорогого друга, ныне покойного, — объяснил д'Антон, когда Плюрабель с удивлением спросила, откуда между ними такая глубокая привязанность. Ей самой нравились парни с татуировками и пирсингом, которые вьются вокруг, как верные псы, и каждый раз встречают тебя с новой прической, однако она никогда бы не подумала, что у д'Антона схожие вкусы. Оказалось, взаимная симпатия — или даже нечто более сильное — связывала его с футболистом многие годы.

— Как всегда бывает в случае глубокой, но с виду непостижимой привязанности, объяснить ее причины довольно сложно, — продолжил д'Антон. — Я унаследовал обязательство, которое не побоюсь назвать священным, от своего друга, а тот — от своего. Не сочти мои слова неумест-

ной шуткой, если я скажу, что бедного Грейтана перебрасывали друг другу, как футбольный мяч. По сути, он все равно что сирота, а я в некотором роде его опекун.

— По-моему, для сироты у него слишком много опекунов, — заметила Плюрабель с неожиданным раздражением, удивившим ее саму.

Неужели она ревнует к Грейтану, потому что он тоже пользуется покровительством, которое она привыкла считать своей личной прерогативой?

— Значит, я недостаточно ясно выразился. Мать Грейтана бросила, отец плохо с ним обращался, дядя избивал. Если бы не вмешались сначала Федерико, а затем Славко, неизвестно, что бы с ним стало. Я обязан продолжить то, что они начали.

— Звучит так, будто это тебе в тягость.

— Вовсе нет. Унаследованное обязательство я исполняю с радостью. Разве не для того мы живем, чтобы отвечать на зов слабых и беззащитных? В особенности если это напоминает нам о друзьях, которых у нас забрали. Я вижу в Грейтане что-то от кроткого нрава тех, кто заботился о нем до меня, хотя посторонним он может показаться бесчувственным животным. На самом деле Грейтан обладает редкой для футболиста телесной ранимостью. И нежным сердцем, несмотря на

репутацию ловеласа.

— А как насчет репутации нациста?

Д'Антон рассмеялся и покачал головой:

— О, это у Грейтана недавно. С тех пор как он побывал у тебя на вечеринке и познакомился с Мехди Мехди. У него просто рука дергается, вот и все.

По словам самого Грейтана, его не так поняли. Многие игроки (не называя имен) делали тот же самый жест, только исподтишка — изображали, будто чешут ухо или дразнят команду противника, показывая два пальца. Давно пора было их обличить. Вообще-то сам Грейтан не расист — разве он когда-нибудь получал желтую карточку за оскорбление чернокожего или азиата? И не антисемит, и может это доказать. Назовите хоть один случай, когда бы он поставил подножку игроку-еврею. А еще по крайней мере одна из его жен — так сразу, правда, не вспомнить, которая, — была немножко еврейкой.

— К еврейкам у Грейтана слабость, — пояснил д'Антон. — Он их считает соблазнительными. Что ж, о вкусах не спорят.

— А сейчас есть у него девушка-еврейка?

Д'Антон задумался.

— Насколько я знаю, нет.

— Значит, надо подыскать. Это наш долг перед твоими друзьями.

Через некоторое время после водворения д'Антона — скажем, года через полтора, — Плюрабель влюбилась. Не в д'Антона и, уж конечно, не в Грейтана, не в алжирского чревовещателя и не в его куклу, а в человека, которого — вернее, ноги которого, — впервые увидела торчащими из-под своего «фольксвагена»-«жука». Ее «порше каррера» нуждался в осмотре, однако присланный механик (Плюрабель не ездила в мастерскую — мастерская приезжала к Плюрабель) решил, что с бóльшим удовольствием полежит немного под «жуком». Такую машину редко увидишь в Золотом треугольнике, не то что «порше каррера», которых здесь пруд пруди.

Узнав от домоправителя, что присланный джентльмен, который, честно говоря, не слишком походил на механика, даже не взглянул на «порше», а прямой наводкой направился к «фольксвагену», Плюрабель завизжала от счастья. Нашла, наконец-то нашла! Вот он, мужчина, не одурманенный внешним блеском. Если механик окажется хотя бы мало-мальски привлекательным, когда вылезет из-под самой непритязательной из ее машин, она готова от-

даться ему прямо на месте, и неважно, что место это — посыпанная гравием подъездная дорожка.

Плюрабель побежала в дом, чтобы смыть макияж. Пятнадцать минут спустя, одетая в самую старую одежду, какую только сумела найти, она вернулась на подъездную дорожку.

— Дайте я на вас посмотрю! — сказала она, хлопнув в ладоши.

Плюрабель привыкла, чтобы ей повиновались. А ей нужен был кто-то, кому она сможет повиноваться сама.

Когда же так называемый механик, дюйм за дюймом, предстал наконец перед ней, перемазанный машинным маслом и невероятно смущенный, потому что оказался одет не в рабочий комбинезон, а в рубашку, рукава которой, отметила Плюрабель, даже не засучил, он явил собой чарующую картину невинной мужественности, способной пленить любое девичье сердце.

Цинику на ум скорее пришло бы слово «предприимчивый», чем «невинный». Если человек желает завоевать сердце богатой наследницы, которая с подозрением смотрит на льстивых мужчин с явной тягой к гламуру, он непременно попробует, если только в голове у него есть мозги, угодить ей, предпочтя простое броскому. Те бол-

ваны, что сходят с дистанции перед первым же препятствием, не заслуживают ничего другого, как отправиться по домам. В чем же, собственно, состоит испытание, если все, что от них требуется, это расточать многословные и предсказуемые комплименты? И почему женщину, которую можно завоевать такими банальностями, не завоевали тысячу раз до того?

Подобные рассуждения могли бы сэкономить не одному поклоннику уйму денег и немало хлопот.

Однако против обвинения в предприимчивости говорит один загадочный факт: когда псевдомеханик нырнул под «фольксваген», наследницы не было дома, и скоро ее не ждали. Поэтому остается открытым вопрос, откуда он знал, что Плюрабель застанет его под автомобилем, если, конечно, не собирался лежать без движения, пока она не вернется. Подобный расчет или же полное отсутствие такового — результат в данном случае один и тот же — не снимает обвинений в умысле, зато свидетельствует о полной самоотдаче. Как ни взгляни, молодой человек обладал качествами, способными возвысить его в глазах Плюрабель.

Когда же выяснилось, что это дорогой друг д'Антон (дорогой, закадычный друг д'Антон!)

намекнул ему довольно прозрачно, во-первых, что сердце Плюрабель до сих пор незанято, а во-вторых, каким образом его можно занять, — новый избранник нисколько не упал в ее глазах. Потому что быть закадычным другом д'Антона — само по себе рекомендация. Плюрабель больше не удивляло, почему д'Антон такой грустный: разве можно хоть раз увидеть Барнаби и не влюбиться?

Барнаби. Или «Барни», как она тут же стала называть его про себя, а вскоре и вслух — не при слугах, естественно.

Будь Плюрабель до конца уверена, какому своду правил должна подчиняться та пасторально-идиллическая жизнь, которую надлежит вести, она бы прижала к груди Барни вместе с д'Антоном и посмотрела, что из этого выйдет. Спать с двумя или более мужчинами не считалось в Золотом треугольнике чем-то неслыханным. Сама Плюрабель в период своего первого разочарования в противоположном поле не раз спала с двумя женщинами одновременно. Плюрабель не опасалась, что Барни покинет ее ради д'Антона, поскольку у того не было «фольксвагена», с которым можно повозиться. Однако ее беспокоило, как вновь обретенный возлюбленный воспримет столь

смелую выходку. Если Барни не идеализирует богатство и не считает золото чистым, это еще не значит, что он не идеализирует и не считает чистой ее.

Да и д'Антон тоже, пусть и с иной позиции.

Однажды вечером, ужиная в местном ресторане, Плюрабель спросила друзей, как они познакомились. Ответы она получила несколько противоречивые. Барни сказал, что не помнит; д'Антон — что не забудет никогда. Они познакомились, начал д'Антон, у вертела с жарящимся поросенком на сельскохозяйственной ярмарке в Олсаджере. Сам он не большой поклонник жаркого, однако в тот день сопровождал стекольщика из Японии, который просто обожал свинину. До того они с Такумо побывали еще на двух чеширских ярмарках, и на каждой японец первым делом направлялся к вертелу с поросенком. Барнаби просто прогуливался, не заинтересованный и не безразличный, не голодный и не сытый. День стоял теплый, особых дел не предвиделось, а сельское хозяйство у Барнаби в крови. На нем был серовато-желтый костюм, свободный, точно мешок для сена, а его волосы цветом и текстурой походили на солому. Солнечный свет проникал сквозь облака и озарял лицо Барнаби сиянием

позднего лета, отчего он напоминал наемного пастуха с одноименной картины Уильяма Холмана Ханта. Плюрабель не преминула вставить, что знает эту картину — видела в Манчестерской художественной галерее и часто стояла перед ней в безотчетном восторге, представляя себя на месте пастушки. Д'Антона ее замечание почему-то раздосадовало. Возможно, потому, подумалось Плюрабель, что на его картине никакой пастушки не было.

Барни рассмеялся вполне пастушеским смехом.

— Не помню эту ярмарку. Да и костюма такого у меня нет.

— Под пиджаком на тебе была кремовая рубашка с оторванной пуговицей, — продолжил д'Антон.

— Не ношу таких рубашек.

— В руке ты держал соломенную шляпу.

— Ты явно что-то путаешь, старина.

— А тебе как вспоминается ваша первая встреча? — спросила Плюрабель, взволнованная упоминанием об оторванной пуговице.

Барни покачал головой.

— Да просто д'Антон всегда был рядом или где-то поблизости. С тем же успехом можно спросить,

когда я впервые увидел небо.

Лицо д'Антона напомнило Плюрабель еще одну картину Уильяма Холмана Ханта — «Светоч мира». Иисус, голова которого на фоне лунного диска кажется окруженной нимбом, стучит в дверь, не ожидая ответа. Губы у него поджаты почти обиженно, глаза опущены. Одинокий, полный жалости к себе человек. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною»[24]. А сам прекрасно знает, что дверь так и останется запертой.

Похоже, д'Антону нравится быть отверженным, подумала Плюрабель. Он словно надеется, что Барни не даст ему того, чего он хочет, чем бы это ни было.

Или же это сама Плюрабель надеялась, что Барни не даст д'Антону того, чего он хочет?..

---

[24] Примечания: 24
Откровение Иоанна Богослова, 3:20.

V

— Я должен ответить, — сказал Струлович, доставая телефон.

— Разумеется, это же ваша дочь, — кивнул Шейлок.

— Откуда вы знаете?

— По звонку.

Они вышли с кладбища и теперь с принужденной раскованностью направлялись к стоянке. Струлович пригласил Шейлока к себе — погреться, принять ванну, выпить виски, переночевать, — и Шейлок принял приглашение с резковатой готовностью, которая и удивила Струловича, и польстила ему. Несмотря на все свое богатство и влияние, Струлович был человек скромного происхождения и всегда ожидал, что ему откажут. Наверняка у людей есть более интересные занятия, чем проводить время в его обществе.

— Хорошо… хорошо… замечательно… — проговорил Струлович чуть ли не с поклоном.

Шейлок, которому оказание и принятие гостеприимства тоже давалось нелегко, потрепал его по плечу. Не обладая особым чутьем в подобных

вещах, оба, однако, чувствовали необходимость ускорить сближение.

Почему? На этот вопрос Струлович не смог бы ответить. У него почти не было друзей среди мужчин. Мать, жена, дочь — вот центры, вокруг которых вертелась его жизнь. Струловичу польстило, что Шейлок взял его под руку, причем хватка у него оказалась железная. Очень европейский жест. Хотелось бы думать, что со стороны их можно принять за двух профессоров живописи из Болонского университета, обсуждающих эстетику кладбищенских надгробий.

— Сразу видно, что вы ее балуете, — заметил Шейлок, когда Струлович нажал на отбой.

В его голосе слышалось сильное чувство. Да разве могло быть иначе? Но что это за чувство — скорбь, зависть, горечь?..

Быть может, оба они друг другу завидуют?

Или же Струлович просто слышит в голосе Шейлока собственную отеческую гордость и сентиментальность?

— Ее мать слишком больна, чтобы заботиться о ней, как должно, — ответил Струлович. — Ответственность за дочь полностью лежит на мне, а я на подобную роль не гожусь.

— Разве хоть один мужчина на нее годится?

— Без жены, наверное, нет. Так что да, я ее балую. Балую и притесняю — с одинаковой силой.

— Могу вас понять.

— Я хвалю, а затем отчитываю. То, что даю левой рукой, отнимаю правой. За потворством вечно следует раздражение, за раздражением — раскаяние. Мы с дочерью будто заключены в замкнутом пространстве, и я то сковываю ее движения, то слишком остро ощущаю ее присутствие. А затем наказываю за то, что она чувствует то же, что и я. Никак не могу достичь равновесия в своей любви к ней.

Шейлок крепче стиснул локоть Струловича. По его напряженным пальцам пробежала легкая дрожь воспоминаний.

— Своими словами вы вонзаете в меня кинжал, — сказал Шейлок. — Впрочем, любой отец на моем месте испытывал бы то же самое. Таков уж непреложный закон: отцы не знают меры в любви к дочерям.

Получалось, что это ужасная обязанность, возложенная на них Богом, — который справлялся с воспитанием собственных детей ничуть не лучше. Любовь Шейлока, понял Струлович, тяжелое испытание. Однако слова его не только пугали, но и утешали. Значит, Струлович такой не один.

Так уж распорядилась вселенная, что отцы любят дочерей не благоразумной, а слишком сильной любовью, и дочери ненавидят их за это.

— Я хочу оставить ее в покое, но не могу, — продолжил Струлович. — Боюсь за нее. Вот бы она заснула, а проснулась на десять лет старше. Дочь, которая учится в колледже, это ходячая пытка. Домой она возвращается с совершенно замороченной головой.

Шейлок едва дождался, пока он договорит.

— Думаете, если бы она никогда не выходила из дому, что-то бы изменилось? Дочери не нужно образование, чтобы научиться ненавидеть отца. Бунтарство можно освоить и через открытое окно. Такова уж природа дочерей.

— Такова уж природа открытых окон.

— Такова уж природа природы.

— Значит, я против природы.

Шейлок издал гортанный звук, похожий на умирающий смешок.

— Что же, флаг вам в руки! — Он замедлил шаг и глянул назад, как бы желая проверить, не гонится ли за ними природа. — Наша борьба с природой длится давно. Много вы знаете одичавших евреев?

Так сразу Струловичу в голову пришел только

Джонни Вайсмюллер[25].

Шейлок ударил рукой по воздуху, словно пытаясь прихлопнуть муху.

— Насчет него самого ничего сказать не могу, а вот Тарзан, вы уж мне поверьте, точно не один из нас. Мы с обезьянами не якшаемся. Либо гал-деж приматов, либо закон. Мы выбрали закон. Вы ведь читаете Стефана Цвейга? Разумеется, читаете. Говорят, в молодости он занимался эксгибиционизмом перед обезьянником Шенбруннского зоопарка в Вене. Почему именно перед обезьянником? Чтобы высмеять поработивший его сексуальный императив. «Я ничем не лучше обезьяны», — как бы говорил Цвейг. Со временем он это перерос. Вот вся история евреев: мы это переросли. Нужно провести черту под тем, что осталось в прошлом. Христианам нравится думать, будто они провели черту под нами.

— Мы же не обезьяны.

— Для них — обезьяны. Гориллы, собаки, волки.

— Всего лишь ругательства, не более того. Их настоящая претензия к нам состоит в другом:

---

[25] Примечания: 25

Вайсмюллер, Джонни (1904–1984) — американский пловец и актер, в 30-х и 40-х гг. игравший Тарзана. Настоящее имя — Петер Йоханн Вайсмюллер.

мы слишком решительно провели черту под природой.

— Претензия христиан к нам состоит в том, что лучше служит их целям в данный конкретный момент времени. Они сами не знают, почему терпеть нас не могут, знают только, что не могут. Мои чувства к ним более определенны. Они говорят, будто мы лишены милосердия, но когда я выбежал на улицу, выкрикивая имя Джессики, дети смеялись над моим горем. И ни один милосердный христианский родитель не затащил их в дом и не отчитал за жестокость.

«Ого! — с восхищением подумал Струлович. — В непримиримости ему не откажешь. Да и в живости ума, если уж на то пошло».

С другой стороны, хотя Струлович и предпочел бы не осуждать своего нового приятеля на столь ранней стадии знакомства, разве не ходили слухи, будто, выбежав на улицу, Шейлок оплакивал не столько дочь, сколько дукаты? Струлович знал: слухам верить нельзя, но что, если в данном случае именно так все и было?

В конце концов, дочь у Шейлока украли именно как предмет, обладающий материальной ценностью. Но нельзя же — или можно? — сваливать все на меркантильность общества. Струлович

и сам жил в мире, помешанном на богатстве, однако не путал дочь со счетом в банке. Впрочем, он понимал: горечь потери стирает границы между предметами и людьми. Ограбленные часто называют случившееся с ними насилием, воспринимая кражу имущества так же остро, как нападение на собственную персону. Струлович не был уверен, что чувствовал бы то же самое, но не был уверен и в обратном. Его больше занимал вопрос, не производит ли он схожее впечатление как отец. Одержимый. Подобный волку. Одурманенный яростью и чувством собственничества. Неужели любовь Струловича — такое же испытание, как любовь Шейлока? Неужели он так же смешон в жестоких глазах христиан?

— Вижу, о чем вы думаете, — сказал Шейлок. — Подвести черту под собственным прошлым — это одно, но как подвести черту под будущим дочери? Ответ: «Никак».

Оба замерли и уставились на холодную серую слякоть у себя под ногами. Казалось, они снова на кладбище — скорбно склоняют головы перед могилами, где лежат их близкие.

Наконец оба двинулись дальше и несколько минут шли молча, пока Шейлок опять не замедлил шаг.

— Знаете, — сказал он таким тоном, словно несколько недель подряд обсуждал эту тему со Струловичем, и в голову ему неожиданно пришла новая мысль. — Джессика купила обезьяну не только мне назло.

Они стояли перед кладбищенской молельней со звездой Давида над входом. Когда хоронили мать Струловича, молодой раввин, который проводил службу, неправильно произнес ее имя, и Струлович поклялся никогда больше не посещать проводимых раввинами служб, неважно, похоронных или праздничных.

— Так зачем она купила обезьяну?

— Простите, здесь мы совершаем омовение рук, — ответил Шейлок.

Он подошел к ряду умывальников у задней стены и полил себе на руки водой из жестяной кружки. Значение обычая было Струловичу известно: водой смывается скверна смерти. По-своему понятно — неважно, религиозен ты или нет. И все же ему мерещился в этом привкус фанатизма.

Струловичу хватило самоиронии, чтобы усмехнуться собственным мыслям: а сам-то он страсть какой умеренный!

Шейлок продолжил разговор с того же места,

на котором прервал:

— Вы спросили, зачем Джессика купила обезьяну…

— Да.

— Чтобы отречься от собственного еврейства… Не стану добавлять: «Будь проклято ее имя».

Для меня ты умер…

Лежишь мертвый у моих ног…

— Потерянная дочь — не обязательно умершая, — заметил Струлович.

Разве сам он не был потерянным и вновь обретенным сыном?

Пальцы Шейлока впились в руку Струловичу.

— Не дай вам Бог узнать, как вы заблуждаетесь! Такой потери я не пожелал бы даже врагам.

Справедливый упрек. Впрочем, Шейлок лукавит: именно такой потери он своим врагам и желает.

Струлович почувствовал, что они с отцом состоят теперь в одном клубе. Лига еврейских отцов «Чтоб вам гореть в аду!». Хотя общество Шейлока было ему приятно и даже лестно, он не знал, долго ли сможет выносить эту неприкрытую ярость. В те времена, когда Кей еще не лишилась дара речи, она часто упрекала Струловича в том, что он тащит в дом старинные богословские диспуты.

Теперь ему хотелось сказать Шейлоку то же, что когда-то говорила ему Кей: «Смотри на все проще!»

Остаток пути до черного, похожего на катафалк «Мерседеса» они проделали молча.

— О! Не ожидал, — произнес Шейлок.

Рядом с «мерседесом», придерживая дверцу, стоял чернокожий шофер. Струлович подал ему глайндборнский табурет Шейлока.

— В багажник, Брендан, — велел он и снова повернулся к Шейлоку: — Не ожидали, что у меня личный шофер?

— Не ожидал, что у вас немецкий автомобиль.

— Под прошлым нужно подвести черту — вы же сами сказали.

— Черта черте рознь.

— Черта и есть черта, а прошлое осталось в прошлом.

— Не знал, что вы так думаете.

— А я и не думаю.

Вот так, сидя на заднем сиденье нежданного «мерседеса», они завели беседу о тяготах воспитания, обычную между отцами — в особенности между отцами, на чьи плечи легла обязанность в одиночку воспитывать дочь.

— Наверное, вас это удивит, — начал Шей-

лок, — но я постоянно жду вестей от своей дорогой — слишком дорогой дочери. В тот день, когда Джессика сбежала, я похоронил ее в своем сердце. Однако навсегда похоронить дочь невозможно. Даже такую, которая готова украсть самое ценное, что есть у отца… после нее самой, естественно.

Струлович почувствовал, что не следует выставлять себя собратом по несчастью. Беатрис, конечно, попортила ему немало крови, но, по крайней мере, еще не сбежала через окно с вором и невеждой.

— Значит, пока вы ничего о ней не слышали?

Лучшей реплики ему в голову не пришло.

Струлович тут же сам понял, до чего нелепо звучит это «пока».

Шейлок смотрел мимо него, глядя и одновременно не глядя на сельский пейзаж за окном.

— Я сказал, что жду, — заговорил он. — Однако надо признать, что это не волевой акт, а просто характеристика состояния, в котором я нахожусь. Я жду, потому что ожидание — единственное, что может последовать, когда не последовало ничего. Надеяться не на что: история кончается там, где кончается. Быть может, Джессика на полпути домой, быть может, в эту самую минуту она сту-

чится ко мне в дверь, но в любом случае подобное предположение лишено смысла. Сегодня всегда вчера. Шестого акта нет. Для меня не было даже пятого. Однако отсутствие окончательной развязки означает отсутствие окончательного разрыва. Все возможно. Ничего нельзя отрицать. Жалящее сомнение жалит не так непоправимо, как жалящая уверенность. Я уязвлен, но все же дышу.

— Значит, в будущее смотреть бесполезно?

— Абсолютно.

— Неужели вам не хотелось бы узнать, как ей теперь живется?

— Я не был бы человеком, если бы не хотелось. Иногда мне кажется, что я желаю ей счастья. Иногда нет. В любом случае все это пустое. Нет никакого «теперь»: ее история тоже обрывается там, где обрывается. Джессика и тот грязный бездельник, с которым она убежала, а может — почем мне знать? — и обезьяна тоже, должны унаследовать мое состояние. Впрочем, они никогда его не получат — это несколько утешает. И все же я ничего не могу с собой поделать и представляю себе ее раскаяние. Стыдно признаться: я молюсь о том, чтобы она изнывала от раскаяния. Я мечтаю об этом — вижу ее измученное лицо. Однако молить о подобном — значит просить о несбыточном, о

том, чего, возможно, никогда не было и уж точно никогда не будет.

Струлович покачал головой.

— Наверняка в ее действиях присутствовало семя раскаяния. Даже в тот самый момент, когда она их совершала. Разве можно отправиться в путь и в то же время не жалеть, что не остался дома? Думаю, по временам Джессика с тоской оглядывалась назад.

— Такие опасения принадлежат Ветхому Завету.

— Откуда вам знать, что она не поддалась этим опасениям, как только покинула дом?

— Как только Джессика покинула дом, она купила обезьяну.

— Это тоже своего рода взгляд назад.

— Да, но не на меня. После покупки обезьяны Джессика окончательно перестала быть моей дочерью. Жизнь в еврейском доме казалась ей хуже тюрьмы. Да, конечно, остается вероятность, что Джессике не понравилось то, во что она превратилась, и она испытала пусть не раскаяние, но, по крайней мере, нечто вроде сожаления, о котором вы говорите, хотя бы ради своей бедной матери. Впрочем, не стоит давать волю фантазии. Джессика ненавидела меня и, думаю, Лию тоже

— за то, что та умерла. Порой я спрашиваю себя, не был ли побег одной жестокой пародией на уход другой — она ведь умерла внезапно, моя дорогая Лия. Джессика поступила так же, как поступили с ней. В любом случае ее бегство было в высшей степени жестоким. Жестоким, святотатственным и полным презрения. Если бы Джессика хотела показать мне, какой выросла без матери — или же без отца, более подходящего на роль матери, — какой равнодушной сделали ее моя опека и мой пример, какой бессердечной, она и то не смогла бы найти способ лучше. Надеюсь, дурное обращение, которое ей приходится терпеть, заставило ее увидеть все в ином свете, хотя я никогда не узнаю, так это или не так. Однако отцу не подобает желать, чтобы дочь страдала, даже если через это она поймет, сколько страданий ему причинила. Я должен желать ей счастья, не так ли?

— Вы требуете от себя слишком многого. Ни один отец не может от всего сердца желать, чтобы его дочь была счастлива.

Шейлок со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы.

— Жестокая философия.

— Нет — жестокая психология.

Шейлок украдкой, по-змеиному взглянул на

него. «Я его изумил, — подумал Струлович. — Хорошо. Я и сам себя изумил».

Он попросил Брендана ненадолго открыть окна. Ему хотелось почувствовать дуновение свежего ветра с полей, пусть поля эти всего лишь чеширские.

Цивилизованный человек признает жестокость своей природы, подумал Струлович. Людьми нас делает справедливость, не прощение. В жилах у нас кровь, а не молоко.

Он попросил снова закрыть окна.

— Я польщен, что вы считаете меня слишком жестоким.

— Напрасно. Не стоит укреплять христиан во мнении, будто мягкосердечие нам чуждо.

Струлович дотронулся до колена своего собеседника и кивнул в сторону Брендана. Достаточно ли Шейлок знает о современной жизни — понимает ли, что среди чернокожих тоже встречаются христиане? Струлович надеялся, что выражение его лица передаст эту мысль и предостережет Шейлока. Не следует пренебрежительно отзываться о христианах в присутствии самих христиан, вне зависимости от цвета их кожи.

Шейлок извинился.

— Я не привык сдерживаться, — вполголоса

произнес он. — Всегда отвечал оскорблением на оскорбление. Но времена нынче благопристойные.

— С виду, — шепотом ответил Струлович.

VI

Шофер — с несколько угрюмым видом, как показалось Струловичу, — остановил машину перед особняком в деревне Моттрам-Сент-Эндрю, образующей восточную вершину чеширского Золотого треугольника. Это был последний дом, в котором довелось жить отцу и матери Струловича, настолько непохожий на дома их детства в Солфорде, где их родители разводили во дворе кур и молились Всевышнему на идише, насколько только возможно. Такая вот перемена в рамках одного поколения: из лачуги в англо-еврейском местечке в баронское поместье с настолько широкой подъездной дорожкой, что на ней смогла бы разместиться целая дюжина «мерседесов», а также с прудом для редких рыб и видом на гору Элдерли-Эдж. Кусочек зеленой, окутанной сиреневым туманом Англии, хранящий тайны каменного века, которым можно любоваться в свое удовольствие и даже почувствовать своей собственностью… и все благодаря автомобильным запчастям. Сам Струлович больше любил свой

дом в Хампстеде[26] — предпочитал подлинную старину новострою, даже если новострой этот принадлежал ему, — однако видел множество доводов в пользу того, чтобы оставить за собой поместье в Моттрам-Сент-Эндрю. В конце концов, у него есть профессиональные интересы на севере, есть дочь, изучающая искусство перформанса в Академии Золотого треугольника, недавно переименованной в Институт северного Чешира, дабы избежать нежелательных ассоциаций с низкосортными средними школами. Академия эта представляла собой частный художественный колледж для привилегированной публики всех возрастов, где Струлович как меценат имел кое-какое влияние. Кроме того, он надеялся, что свежий воздух пойдет на пользу бедной Кей. Мать Струловича тоже предпочла бы никуда не переезжать и, по ее собственным словам, «была бы счастлива умереть даже в садовом сарае». Однако Струлович настоял на том, чтобы построить для матери отдельный флигель, в котором смог бы разместиться весь ее обслуживающий персонал.

— Куда мне столько сиделок, Саймон? — спрашивала она.

---

[26] Примечания: 26
Хампстед — фешенебельный жилой район на севере Лондона.

— Сиделок много не бывает, — отвечал Струлович. — А вдруг ты поскользнешься в ванной или упадешь с лестницы? Когда живешь один, несчастье подстерегает на каждом шагу.

По иронии судьбы, вечно подстерегающее несчастье подстерегло не ее, а Кей, которая была в два раза моложе и жила не одна, а с мужем и дочерью.

Мать Струловича не поскользнулась, но ускользнула — тихо, без единого звука, — ускользнула из жизни, окруженная целым штатом доброжелательных сиделок.

Струлович не оплакивал мать как должно. Он любил ее, однако все его чувства притупились. Если не можешь любить жену — не смеешь любить жену, чтобы не завыть от отчаяния, — кого же еще остается любить?

Дочь, вот кого.

Струлович не считал Беатрис достаточно взрослой, чтобы жить вместе с другими студентами, которые могли оказаться в два раза старше. По мнению самой Беатрис, она осталась дома только ради Кей, хотя и не была особо заботливой дочерью. Болезнь матери пугала девушку. Кроме того, у нее не хватало терпения на все эти коммуникативные ритуалы — сколько же можно ждать,

пока слова, подчас бессмысленные, стекут у Кей по губе или появятся нечитаемыми каракулями на доске? В то же время Беатрис стыдилась собственного поведения и считала своим долгом хотя бы не уезжать слишком далеко. Струлович боялся даже представить, что будет, если девочка поступит в лондонский колледж, боялся представить, с кем она познакомится, в кого влюбится и чего ей наговорят, приходил в ужас от одной мысли, что в один прекрасный день она вернется домой с куфией на шее, а потому всячески подогревал в дочери чувство вины. Да, похвалил он ее решение, остаться на севере и жить дома — отличная идея. Мама будет очень довольна, даже если ничем не сможет этого показать. На самом деле география значения не имела. Где бы ни училась Беатрис, ей так и так забьют голову последней версией антиеврейского психоза и сообщат, что настоящий псих — ее отец. Однако Струлович хотел быть поблизости на тот случай, если… в общем, просто на всякий случай. И он вовсе за ней не шпионил. Если он, проскальзывая в аудиторию, и разглядывает порой работы студентов, то исключительно по одной причине: ему было что им посоветовать или посулить. Такова уж цена, которую должна заплатить дочь

филантропа, руководящего Фондом Струловича. Любому учебному заведению, куда бы она ни поступила, нашлось бы о чем попросить: услуги мецената, вне зависимости от его вероисповедания, всегда пользуются спросом.

— Не перетрудись, — предостерегала мать. — Ты ведь у себя только один.

Уже выходя из машины — причем в поведении Брендана ему вновь почудилось нечто странное, нечто не вполне подобающее, — Струлович вспомнил, что так и не побывал у нее на могиле.

Слишком много всего произошло за день, а как говорила мать, он у себя только один.

Оправдание можно найти всегда.

Так какое же оправдание было у Брендана? Нельзя сказать, чтобы он вел себя непочтительно, лихачил, слишком резко брал повороты. Открывая пассажирам дверь, он не медлил и не делал обиженное лицо. И все-таки казалось, что Брендан задет. Кто же или что ж его задело? Присутствие Шейлока? Нападки на христиан? Еврейские разговорчики?

Интересно, подумал Струлович, как отреагируют на Шейлока собаки. Однако собаки не обратили на вошедших внимания. Даже головы не подняли.

Струлович предложил чего-нибудь выпить и, может быть, слегка перекусить перед сном, стараясь, чтобы предложение не прозвучало так, будто он не в силах остаться один. Неужели ему одиноко? Струлович, в некотором смысле, только что вернулся с похорон матери. У него нет ни жены, с которой можно поговорить, ни дочери, которой можно доверять. Зато есть много несведенных счетов — общественных, религиозных, метафизических, — неважно, каких. Просто счетов. Естественно, ему одиноко.

От еды Шейлок отказался, а вот выпить был бы не прочь. Струлович предложил граппу. Шейлок покачал головой. Хорошо бы кюммеля. Кюммеля у Струловича не нашлось. А сливовицы? Сливовицы тоже. Шейлок пожал плечами. Амаретто? Кажется, амаретто где-то есть.

Шейлоку не хотелось утруждать хозяина.

— Я выпью воды, — сказал он, — или коньяка.

Коньяк у Струловича был. Отправляться на боковую Шейлок не торопился. Он почти не спал — давно уже почти не спал. Кроме того, его заинтересовала обстановка — кресла из кожи и стали, ковры в стиле ар деко, репродукции картин на тему воскресения, пугающе живая глиняная скульптура — полуобнаженные мужчина и жен-

щина, сплетенные в смертельном объятии.

— В этой комнате разрешается сидеть? — спросил Шейлок. — Или она предназначена для того, чтобы стоять и созерцать?

— Садитесь, садитесь, — поспешно ответил Струлович, подводя его к креслу.

Интересно, бывал ли когда-нибудь Шейлок в подобных домах?

Должно быть, именно эта мысль побудила Струловича сказать какую-то глупость насчет того, что Шейлок, наверное, повидал на своем веку немало перемен.

— Да, — подтвердил Шейлок, — кое-какие перемены замечаю.

Струлович широко раскрыл глаза.

— Например? — спросил он.

Еще более дурацкий вопрос.

— Вы устанете слушать, — ответил Шейлок.

— А вы, судя по всему, просто не помните.

— Напротив, я помню все.

— Ну же, побалуйте меня. Какова самая существенная перемена?

Шейлок закрыл глаза и сделал вид, будто вытягивает из воображаемой шляпы соломинку или лотерейный билет.

— Раньше на меня плевали, теперь мне расска-

зывают еврейские анекдоты.

— Смешные анекдоты?

— Только не в исполнении христиан.

— По крайней мере, они это по-доброму.

— Назовите хотя бы один анекдот, который можно рассказать по-доброму.

Струлович не стал даже пытаться. Вместо этого он изобразил, будто взвешивает что-то на ладонях.

— Если взвесить все «за» и «против», анекдоты — неважно, добрые или нет, — в любом случае лучше плевков.

Шейлок уставился в свой бокал. Когда он сосредоточенно о чем-то думал, глаза его как бы уходили вглубь и затягивались пленкой, словно в них было больше тьмы, чем света. Струлович знал, что и сам бывает мрачен, однако глубокие тени, которыми наполнялись глаза Шейлока, выводили из равновесия даже его. «Может быть, этот взгляд — тоже своего рода упрек? — подумал Струлович. — Не перешел ли я грань дозволенного? Кто я такой, чтобы решать за него, лучше анекдоты плевков или нет?»

— На мой взгляд, гораздо интереснее другое, — произнес Шейлок тоном, не терпящим возражений, как будто давал понять, что тема

закрыта. — Почему христиане не могут пройти мимо еврея без того, чтобы не рассказать ему анекдот? Неужели при виде чернокожего они всякий раз поют «Реку Суони»?[27]

Ответа на этот вопрос Струлович, к сожалению, не знал.

— Может, и поют, только про себя. По-моему, шутка, рассказанная в лицо, это что-то вроде белого флага: смотрите, мы пришли с миром.

Шейлока подобный пацифизм явно не впечатлил.

— А если шутят по поводу моей скупости и беспощадности? Если перед носом у меня шуршат воображаемыми банкнотами, если смеются над моим стремлением к обособленности, удивляются, что я считаю себя привилегированным, когда все мое существование говорит об обратном, если ставят под сомнение мои моральные устои, хотя сами даже не подозревали о том, что такое мораль, пока мы им не растолковали, если критикуют принципы, по которым я живу, верования, которых придерживаюсь, пищу, которую кладу себе в рот, если излагают пространные теории по

---

[27] Примечания: 27

«Река Суони» — популярная песня о бывшем рабе, с тоской вспоминающем детство на плантации. Написана Стивеном Фостером в 1851 году. Гимн штата Флорида.

поводу того, где, учитывая мое вероисповедание, я должен обосноваться — неужели в этом случае мне тоже показывают белый флаг?

Струловичу вспомнилось, как в школе мальчишки дразнили его Штрудельбомжем и кричали, чтобы он возвращался туда, откуда приехал. Куда это, интересно? В Ур Халдейский?

— И где же вам место, по их мнению? — спросил Струлович.

— В конечном счете — в аду, пока — нигде. У нас был шанс обрести родину, но мы его упустили — так они считают. Да и потом, оседлость всегда давалась евреям тяжело. Чужаки — вот наше амплуа. Именно рассеяние евреев за пределы Палестины, как меня изо всех сил пытаются убедить, помогает выявить в нас все лучшее. Остается только гадать, что помогает выявить все лучшее в самих христианах. Они без всякого смущения утверждают, что настоящий еврей — это странствующий еврей, который чувствует себя как дома повсюду и нигде, щеголеватый бродяга, ютящийся где только можно притулиться — по краям и в трещинах. Неустойчивый, но утонченный, как фланер, что цепляется за отвесный склон, выражая тем самым свою удивительно творческую маргинальность.

— Моя дочь того же мнения.

— Я мог бы с ней поговорить…

Струлович позволил себе иронически усмехнуться.

Лицо Шейлока осталось непроницаемым. Его оливковая кожа была отполирована до зеркальной безнадежности, в которой отражалась вся мыслимая скорбь.

— Кто сказал, что с вашей дочерью я не добьюсь большего успеха, чем с собственной? — спросил он. — Могу употребить свой опыт вам на благо, раз уж я все равно здесь.

— Так вы здесь поэтому?

— Я здесь, потому что я здесь. Какое еще объяснение удовлетворит такого скептика, как вы?

С полчаса оба сидят молча, не глядя друг на друга. Наконец Струлович самым негостеприимным образом трет глаза и произносит:

— Можете выбрать любую спальню, какая больше понравится. Лучшие комнаты в задней части дома, с видом на гору Элдерли-Эдж. Если поздно ляжете или рано проснетесь, у вас будет шанс увидеть, как по ней съезжают на санях колдуны.

— Так это колдовское место? — подозрительно спрашивает Шейлок, почуяв запах язычества.

Струловичу вспоминается скетч, в котором

итальянский юморист Дарио Фо пытается съесть самого себя. Судя по выражению лица, Шейлок хотел бы съесть гору Элдерли-Эдж.

Струлович смеется с искренним восхищением. Презрение моего народа к фольклору непобедимо, думает он.

Жаль, что у него нет других друзей-евреев, с которыми можно делиться черными мыслями и высмеивать природу.

Возможно, именно этот приступ культурного одиночества заставляет Струловича спросить, что за книгу читал жене Шейлок. Еще одна, последняя дружеская беседа о литературе, прежде чем идти спать.

— Думаю, вы могли бы сами догадаться.

— На вид книга зачитанная. Если это Библия, можете почитать одну из моих — почту за честь. Есть у меня одна Женевская Библия[28] — очень красивая и открывается легко.

— Мы решили дать Библии немного отдохнуть. Боюсь, Иаков и его овцы утомлены. К тому же в последнее время жена предпочитает романы. На прошлой неделе мы перечитывали «Преступ-

---

[28] Примечания: 28

Женевская Библия — перевод Библии на английский язык, выполненный в 1560 году группой протестантов, скрывавшихся в Женеве от католического преследования.

ление и наказание». Дальше по плану «Братья Карамазовы», но пока жену тянет посмеяться, поэтому я читаю ей «Случай Портного»[29]. Эта книга согревает Лии сердце. Хотя там есть главы непристойного содержания, по-моему, опускать их было бы неправильно.

Как бы одиноко ему ни было, Струлович предпочел бы, чтобы эти слова оказались на сегодня последними. После них он смог бы заснуть спокойно. Жаль, что у него самого нет жены, которой согревало бы сердце то, что он ей читает. Но иногда удается порадоваться и за чужие сердца.

Однако Шейлок, похоже, не собирался на боковую. Его присутствие начинало стеснять Струловича. Этот гость требовал от хозяина всех сил. Хотя глаза Шейлока не излучали света, а рот выглядел решительно угрюмо, весь его вид выражал какую-то раздражительную готовность к общению, словно разговор, каким бы безрадостным он ни был, служил ему родной стихией, и Шейлок боялся его прекращения. Или же он просто боится спать? Спит ли он вообще когда-нибудь? Неужели такова цена, которую Струловичу

[29] Примечания: 29

«Случай Портного» — роман американского писателя Филипа Рота о молодом еврее, страдающем Эдиповым комплексом и помешанном на мастурбации.

придется заплатить за то, что пригласил его к себе — никакого сна, одни сплошные разговоры о дочерях и самоотождествлении, злобе, предательстве, обезьянах?..

Чтобы не уснуть, Струлович спросил, помнит ли Шейлок последний анекдот, который рассказывали ему христиане.

— Предпочитаете послушать, как бы рассказал его я или как бы рассказали они?

— Как бы рассказали вы.

— Тогда расскажу, как рассказали бы они. Г'инбе'г п'иходит к в'ачу… Да, к слову, вам когда-нибудь встречался еврей, который бы так разговаривал?

— Нет… Разве что среди раввинов, и то редко.

— Должно быть, христиане парадируют то, что их пугает.

— Позвольте заметить: нас давно уже никто не боится.

— Говорите за себя. Собаки меня до сих пор боятся.

Струлович не стал уточнять, что его собственные собаки не испугались. С другой стороны, они давно привыкли к обществу несдержанного еврея.

— Не сомневаюсь, что лично вы способны ис-

пугать. Я имел в виду «нас» как народ.

— Не уверен, что между «я» и «мы» можно провести границу. Индивидуальный еврей неизбежно несет в себе черты еврея коллективного. Христиане всегда видят перед собой именно коллективного еврея. Готов признать, что при личном общении они бывают очень милы. Я не раз получал предложения руки и сердца от христианок, искренне желающих возместить причиненное зло. Бывало, мой портрет рисовали вполне благожелательно. Однажды на кладбище передо мной извинился немец. Однако когда я протянул ему руку, он не решился ее пожать. Почему? Потому что в тот момент это была рука не индивида Шейлока, а коллективного еврея. А коллективно мы по-прежнему представляем собой нечто зловещее.

Струлович почувствовал, как внутри у него зашевелились темные забытые силы. Нечто зловещее… хорошо бы!

— Мне продолжать анекдот? — спросил Шейлок.

Струлович вспомнил о хороших манерах.

— Да, прошу вас. Г'инбе'г п'ишел к в'ачу…

— «Г'инбе'г, — говорит врач, — вам придется перестать мастурбировать». — «Пе'естать

масту'би'овать?! — восклицает Гринберг. — Почему?» — «Потому что я пытаюсь вас осмотреть!»

Струлович рассмеялся. Он любил этот анекдот, однако ни за что не понял бы, в чем соль, если бы не слышал его раньше. Исполнение было ужасное. Иов и то справился бы лучше. Возможно, в этом и состоял замысел Шейлока — продемонстрировать, как рассказывают «они». Струлович знал, что Шейлок — обладатель желчного чувства юмора. И не зря он никогда не улыбается. Видимо, Шейлок принадлежит к людям, которым следует писать собственные тексты. Причем писать, дойдя до крайности — на краю или в трещинах. Неудивительно, что многие не могут понять, когда он шутит, а когда говорит серьезно.

— Люблю этот анекдот, — сказал Струлович, вспоминая, какое возмущение он вызывал у Офелии-Джейн.

— Если вы его знаете, почему не прервали?

— Я бы ни за что на свете вас не прервал. Но скажите, откуда столько историй про мастурбирующих евреев? Онан, Леопольд Блум, ваш Александр Портной, Г'инбе'г… Такими нас видят христиане? Или мы сами себя такими видим?

Струлович думал, что Шейлок заговорит не сразу. Однако даже ученый, написавший на эту

тему неопубликованный научный труд, и то не ответил бы с большей готовностью.

— И то, и другое. Много лет нам рассказывали, что видят в нас другие, и в конце концов мы сами увидели в себе нечто подобное. Вот оно, действие клеветы: жертва впитывает мнения мучителя. «Если я так выгляжу со стороны, наверное, я такой и есть».

— Что же, если христианам непременно нужно видеть в евреях нечто развращенное, пусть лучше считают нас онанистами, чем скупердяями. Это больше согласуется с нашей склонностью к самоиронии.

— Не вижу никакой разницы. Евреи, сгорбленные над собственным половым органом, евреи, чахнущие над златом… В глазах христиан все это — одна нездоровая панорама извращенного себялюбия. Мы тратим так же, как копим, — только для себя, изымая свою сперму и свои деньги из общего обращения. Ненависть к нам они оправдывают экономическими причинами, однако, на мой взгляд, корень ее — гениталии. Много веков подряд мы — предмет их сексуальных фантазий. Сначала они верили, будто мы менструируем, как женщины, потом обвиняли в кастрации христианских детей. Одно воспоминание о ев-

реях порождает грязные мысли. А вызвана эта смесь невежества и страха обрезанием. Если мы способны сотворить такое с собой, страшно даже представить, что мы готовы сотворить с ними.

Негромкий стук в дверь гостиной пробудил Струловича от темной, похожей на транс задумчивости, в которую погрузили его слова Шейлока. На пороге стояла ночная сиделка жены. Не мог бы мистер Струлович уделить ей минутку? Миссис Струлович хочет его видеть.

— Меня зовет жена, — сказал он.

Струлович с самого начала решил, что болезнь жены обсуждать они не будут. Он не искал сочувствия. Да и Шейлок не производил впечатления человека, на сочувствие способного.

— Скоро вернусь, — добавил Струлович как можно обыденнее.

Однако сердце у него билось тяжело и неровно. Неужели в этот и без того необычный день Кей на самом деле позвала его по имени?

Ответ он получил немедленно: нет, не позвала. Просто сиделка за нее беспокоилась — вот и все. Кей услышала в доме шум и казалась подавленнее обычного. К тому времени как пришел Струлович, она уже спала, сидя в кресле. Голова у нее свесилась набок, а на безжизненных губах не

было ни слова для мужа. Струлович усадил жену прямо, поцеловал в лоб и вернулся вниз, гадая, по-прежнему ли Шейлок в гостиной. А может, его там никогда и не было?..

— Так на чем мы остановились? — спросил Струлович.

Гостя своего он нашел в том же положении, в котором оставил: Шейлок сидел в кресле, туго переплетя руки и ноги. На лицо ему не падало ни отблеска света.

В ответ Шейлок только пожал плечами.

Значит ли это, что он устал? Струлович готов был и дальше сидеть вместе, покручивая в руке бокал с коньяком и наслаждаясь темной тишиной, но чем дольше он молчал, тем больше его мысли занимала Кей.

— И что же теперь? — спросил он наконец, не в силах долее выносить молчания.

— Что теперь думают христиане? По-моему, то же, что и раньше. Чище их мысли уж точно не стали.

— Я имел в виду, что ждет теперь вас.

— Лично меня?

Струлович решил рискнуть, хотя и не желал бы навлечь на себя гнев нового знакомого. Он пригласил Шейлока в свой отмеченный горем дом.

Теперь очередь Шейлока пригласить его в свой.

— Да, лично вас.

Шейлок потер лицо. Останется ли оно на месте, когда он отнимет ладони? Струлович заметил, что пальцы Шейлока густо покрыты темными волосками. «Выходит, он ближе к обезьянам, чем я?» — пронеслось у него в голове.

— Для меня лично, — произнес Шейлок, вкладывая в последнее слово всю его долгую историю высокомерия и оскорблений, — нет никакого «теперь». Я живу тогда, когда жил. Я ведь сказал: в ту же секунду, как моя история замерла, я замер вместе с ней. Но иногда, просто ради сатанинского наслаждения, я смакую финальную реплику еще одной жертвы шутов. Думаю, вам нетрудно понять, что я мечтаю о звучной финальной реплике.

Струлович попытался напрячь мозг и вспомнить нужную реплику, но для экзаменовки время было слишком позднее.

– *Я отомщу еще всей вашей шайке*[30], — нетерпеливо произнес Шейлок. Неужели Струлович так туго соображает? — У меня всегда была слабость к пуританам, — пояснил он. — Ничего

---

[30] Примечания: 30

Финальная реплика Мальвольо в пьесе У. Шекспира «Двенадцатая ночь». Акт V, сцена 1. *Перевод М. Л. Лозинского.*

удивительного — у них к нам тоже слабость. Мы отвечаем друг другу взаимностью. Приятно сознавать, что меня, бессердечного жида, в нежелании прощать укрепляет пуританин.

— Странно, что эти слова приносят вам сатанинское наслаждение, — заметил Струлович, раздосадованный тем, что не выдержал экзамена. — По-моему, они звучат довольно слабо: словно старик грозит пальцем расшалившимся ребятишкам.

— Просто вы знаете, что никакого действия за ними не последует. Мальвольо тоже остановился там, где остановилась история. Местью ему никогда не насладиться, но намерение эхом звучит сквозь века. Он наконец-то почувствовал вкус крови. До того Мальвольо только изображал из себя моралиста, а его пуританство было лишь пантомимой. Мы все герои пантомимы, пока не натолкнемся на действительность. Теперь он знает, из чего на самом деле сделан шутовской мирок людей.

Для человека, умеющего сдерживать свои чувства, Шейлок явно пришел в волнение. Вокруг его запавших глаз пролегли глубокие морщины, словно скобки, в которые заключено все то, что не было сказано и не будет сказано никогда.

Струлович опасливо взглянул на него.

— Надеюсь, вы не замышляете никакого бесчинства?

— А это зависит…

— От чего?

— От того, что вы понимаете под словом «бесчинство».

VII

Плюрабель хотелось, чтобы ее любили ради нее самой, другими словами, любили за то, кто она есть, а не за то, что у нее есть. Однако отделить Плюрабель от ее собственности не менее сложно, чем всех остальных, а может, и еще сложнее, поскольку именно то, чем она обладала, давало ей достаточно свободного времени и уверенности в себе, чтобы быть той, кем она была. Раздираемая противоречиями и сомнениями, Плюрабель постоянно предъявляла Барни высокие требования. Однажды сделав из себя обернутый в тайну приз, очень сложно не пожелать, чтобы тебя продолжали разгадывать и добиваться. На телешоу конкурсанты с завязанными глазами, точно котята, отхлебывали из блюдца изысканные кушанья и надеялись выбрать то, которое приготовила сама Плюрабель, дабы выиграть ее общество на вечер и кто знает, что еще. В реальном мире Золотого треугольника Барни приходилось угадывать, в каком платье она себе больше нравится, какие сережки лучше подходят к ее наряду, в каком отеле какой страны она мечтает провести

день рождения, предпочитает ли, чтобы омара подали целиком или с расколотым панцирем, а-ля «термидор» или а-ля «Ньюберг», хочется ли ей секса простого или с извращениями, со светом или без, с открытыми окнами или с закрытыми.

— Ты совсем меня не знаешь, — вздыхала Плюрабель, когда Барни в очередной раз ошибался с ответом. — Не понимаю, почему мы вообще вместе.

Порой она даже плакала, так огорчала ее несовместимость их капризов.

Первым порывом Барни было залезть под «Фольксваген»-«жук», однако он понимал: вечно ставить на одну и ту же карту нельзя, иначе Плюрабель заподозрит, что это единственный козырь у него в рукаве.

Тогда Барни решил посоветоваться с д'Антоном. В конце концов, именно д'Антон заварил кашу, которую ему ежедневно приходилось расхлебывать. Барни не сказал прямым текстом: «Это ты впутал меня в историю», зато потребовал: «Помоги мне выпутаться!» Выпутаться не из отношений с Плюрабель, которые во всех прочих смыслах оправдали его самые смелые надежды, а из сети постоянных проверок на проницательность и постоянных обвинений в ее отсутствии.

Д’Антон не мог даже помыслить о том, чтобы встать между Барни и Плюрабель, однако ему нравилось, когда друг, все еще, так сказать, хранящий тепло любовного ложа и аромат духов своей дамы, приходил к нему за советом. Д’Антон считал себя не посредником — подобная роль умаляла его неослабевающее влияние, — а скорее кем-то вроде камергера, наперсника, которому ведомы самые сокровенные тайны, или жреца брачных мистерий, хотя Плюрабель с Барнаби еще не были женаты.

— Тебе необходимо повзрослеть — в эстетическом и критическом смысле, — объявил д’Антон.

— И что же это значит? — поинтересовался Барни.

— Научись доверять собственным суждениям. Перестань делать то, чего она от тебя хочет.

— Я понятия не имею, чего она от меня хочет!

— Не пытайся угадать. Следуй собственному чутью. Подари ей что-нибудь неожиданное, демонстрирующее зрелую утонченность твоего вкуса.

— Боюсь, это мне не по карману.

— Я не имею в виду нечто дорогое или броское. Я имею в виду предмет, ценный сам по себе, а также ценный как подарок, который выбрал

именно ты. Выбрал не потому, что он может понравиться Плюри, а потому, что нравится тебе. Как бы она ни отнеслась к самому подарку, ей в любом случае будет приятно: ты ведь купил его, руководствуясь собственным вкусом.

Барни прижал ладонь к щеке, словно падший херувим перед лицом Создателя.

— Я так понимаю, тачка даже не рассматривается?

— Не рассматривается. Ты ведь не хочешь свести на нет то, чего добился благодаря автомобилям.

— А что тогда? Драгоценности?

— Откровенно дорого.

— Я не имел в виду сапфиры.

— Значит, откровенно дешево.

— Духи? Трусики?

Редкое слово вызывало у д'Антона большее отвращение, чем «трусики».

— Слишком банально, — ответил он.

У Барни кончилась фантазия. Он попытался угадать, что у д'Антона на уме.

— Произведение искусства? Ты на это намекаешь?

— Я ни на что не намекаю. Но да, произведение искусства подойдет.

— У тебя есть что-нибудь на примете?

— Ты не улавливаешь сути. Речь не обо мне, речь о тебе. К тому же Плюри в курсе, что я покупаю. Если ты обратишься ко мне, она сразу же узнает мою руку.

— Что же мне делать? У меня нет вкуса.

— Наверняка есть какая-нибудь красивая картина, которая тебе нравится.

— «Мона Лиза».

— Возьми чуть ниже.

— «Поющий дворецкий»[31].

— Возьми чуть выше.

Барни принял обиженный вид. Талант этот — принимать обиженный вид — не раз сослужил ему хорошую службу. Подобно лучшим лирическим поэтам, он умел наполнить своей болью чужие сердца.

— Я просто хотел сказать, — с запоздалым раскаянием произнес д'Антон, — что Плюри эта картина вряд ли понравится.

— Ты же сам сказал: не надо пытаться ей угодить.

---

[31] Примечания: 31

«Поющий дворецкий» — картина шотландского художника Джека Веттриано, написанная в 1992 году. В 2004 году продана с аукциона за 744 800 фунтов стерлингов. Репродукции этой картины считаются самыми продаваемыми в Великобритании.

— Да, но мы ведь не хотим нарочно ее обидеть.

У Барни опустились руки. Если между «Моной Лизой» и «Поющим дворецким» зияет бездонная пропасть прекрасного — а выражение лица д'Антона говорило, что так оно и есть, — Барни не знал, как ее пересечь.

Не в силах долее созерцать замешательство друга, д'Антон подался вперед и, точно перевернутой чашей, накрыл руку Барнаби своей. Под его отеческими пальцами пальцы молодого человека слегка подрагивали. Д'Антон не смел поднять на него глаз. Он предложил вместе поехать в Манчестер и посетить художественную галерею аукционного дома «Кейпс Данн». На следующую неделю как раз назначены торги. Барни никогда не бывал на аукционах живописи. Как же он узнает, что нужно делать?

— От тебя требуется одно — найти в каталоге что-нибудь на свой вкус, — заверил д'Антон. — В торгах буду участвовать я.

Одна мысль о том, как они с Барни вдвоем отправятся на поиски прекрасного, грела д'Антону сердце.

Однако оставалось еще одно затруднение. Разумеется, деньги, потраченные на Плюрабель, нельзя считать пропавшими впустую. «Давайте,

и дастся вам»[32], — один из христианских трюизмов о разумном вложении средств, которые внушала Барни мать-христианка. Плюрабель с изрядными процентами вернула все, что он в нее вложил. Однако запас, из которого можно черпать средства для вложения, был небезграничен.

— Об этом побеспокоимся, когда придет время, — с ласковым пониманием сказал д'Антон.

Помимо всего прочего, друзья любили д'Антона еще и за готовность служить неиссякаемым источником помощи, если таковая понадобится.

Ошибка Барни состояла в том, что в назначенный день он позволил Плюрабель себя задержать. Она попросила выбрать ей книгу под настроение — Толкин, Мураками или Джеки Коллинз?

— Не мог же я отказать, — объяснил он д'Антону, который все это время просидел в такси, поглядывая на часы.

Д'Антон был настолько сердит на друга — он считал, что Барни попросту забыл о поездке, назначенной для его же собственного блага, — что даже не поинтересовался, какую книгу тот выбрал. Д'Антон мрачно смотрел в окно такси, а Барни тем временем рассказывал, не упуская

---

[32] Примечания: 32
Евангелие от Луки 6:38.

ни одной подробности — ни литературной, ни семейной. Судя по всему, выбор пал на Мураками. «Потому что Плюри нравится японская кухня». Как будто д'Антону не все равно! Словом, к началу торгов они опоздали, и ранний эскиз Соломона Джозефа Соломона к картине «Первый урок любви» достался Саймону Струловичу. Барни хорошо рассмотрел эскиз в каталоге. С одной стороны, он чувствовал, что работа эта чем-то ему нравится, а с другой — не сомневался, что Плюрабель она понравится не меньше — уж очень похожа на нее обнаженная Венера с пылающими щеками и крошечными сосками, а на него — обнаженный Купидон, который сидит на коленях у Венеры и смотрит на нее с нескрываемым, хотя и несколько дерзким обожанием.

Особенно Барни впечатлили маленький лук и стрела.

— А мы не можем предложить более высокую цену? — спросил он.

— Боюсь, слишком поздно. Картина продана. Неужели тебе больше ничего не приглянулось?

Увы, больше ничего.

Второй раз за неделю д'Антона поразило в самое сердце выражение скорбного замешательства на прекрасном лице друга.

— Предоставь это мне, — произнес д’Антон со вздохом, который, в свою очередь, мог бы пронзить сердце Барнаби, если бы оно у него было.

VIII

Неправда, что Струлович не шпионил за дочерью.

Шпионил, и давно. Началось это, когда ей было тринадцать. Тринадцать в действительности, двадцать три на вид. Соблазнительная левантийская царевна. Спелый гранат. Соблазнительная даже для себя самой. Однажды Струлович застукал дочь перед зеркалом. Она смотрела на свое отражение, надувала губы и смеялась их полноте, оглаживала бедра, выпячивала грудь. Собственная избыточность ее забавляла и в то же время ошеломляла, как бы налагая некую ответственность. Неужели это действительно я? Неужели я вольна распорядиться собой, как пожелаю? Струлович понимал Беатрис — слишком хорошо понимал. Тринадцатилетний и нетронутый, он тоже считал, будто растрачивает себя впустую. «Исчахнет принц в темнице»[33], — повторял он, ночь за ночью отправляясь спать один. А ведь его никак нельзя назвать спелым гранатом. Естественно, Беатрис хотелось как-то себя употребить

---

[33] Примечания: 33

Джон Донн, «Экстаз». *Перевод А. Я. Сергеева.*

— почувствовать, что красота эта предназначена не только для ее собственного взгляда.

Он понимал. Он все понимал. Но не мог позволить, не мог вынести подобной растраты. Это ведь тоже была растрата, хотя и другого рода. Надежды, которые возлагали на Беатрис они с Кей, их любовь, волнение, испытанное Струловичем при виде новорожденной дочери, — неужели все пропадет зря? Неужели завет будет предан? Неужели Беатрис сгинет понапрасну — сгинет не как спелый гранат, а как обетование?

Беатрис растрачивала это обетование впустую. На недостойных парней. На безумные, унизительные выходки. На ненужные ей алкоголь и наркотики. На музыку, не заслуживающую ни секунды внимания. Беатрис выросла в доме, где с утра до вечера звучали Моцарт и Шуберт. Неужели она не чувствовала разницы? Когда Струлович проследил за ней впервые, то нашел на вечеринке в вонючем доме в Мосс-Сайде[34], где ди-джей царапал пластинку грязными ногтями и выкрикивал: «Больше шума!» Этот призыв — «Больше шума!» — это грубое приглашение в первобытную эпоху разъярило Струловича еще

---

[34] Примечания: 34
Мосс-Сайд — район Манчестера, популярный среди студентов.

сильнее, чем вид собственной дочери. Беатрис сидела на полу, скрестив ноги, курила травку и гладила по спутанным волосам пребывающего в полусознательном состоянии троглодита, голова которого покоилась у нее на коленях.

— «Больше шума!» — прошипел Струлович на ухо Беатрис, таща ее вниз по лестнице. — Неужели я затем тебя воспитывал, чтобы ты слушала шум — просто шум ради шума! — в то время как хтонический дебил тискает твою грудь!

Она вырывалась, пока он тащил ее по лестнице, вырывалась, пока волок к «Мерседесу», а шофер наблюдал за ними, не говоря ни слова.

— Вот оно что! — кричала Беатрис. — Дело не в музыке — музыка вообще ни при чем! Дело в этом парне. Так вот, никто меня не тискал. Я сама его тискала. Если где-то меня и тискали, то только в твоем воображении!

Струлович ударил дочь по щеке. Пусть не смеет говорить, что у отца сексуальные фантазии на ее счет. Беатрис выскочила из машины. Он бросился за ней.

— Эй вы! — крикнул ему какой-то прохожий.

— Отвяжись! — рявкнул Струлович. — Я ее отец.

— Тогда ведите себя соответственно!

Эту реплику Беатрис позаимствовала и пускала в ход при всяком удобном случае: «Если хочешь, чтобы я вела себя как твоя дочь, постарайся вести себя как отец!»

Через пару дней она вошла к нему в кабинет, хохоча, точно ведьма.

— Только что вспомнила, как ты охарактеризовал того парня, который меня тискал. «Хтонический дебил». Поздравляю. Я тобой горжусь. Ни у одной другой девушки нет отца, способного выдать подобную фразу.

Струлович испытал прилив гордости. Действительно, неплохая фраза, особенно для экспромта. А главное, чертовски верная.

— Благодарю за комплимент, — ответил он. — Прости, что я тебя ударил.

— Да ты больной. Это ж надо — «хтонический дебил»! На самом деле ты имел в виду просто «гой»[35]. Будь он евреем, ты бы не возражал.

— Неправда.

— Правда!

— Ну хорошо. Возможно, я возражал бы чуть меньше. Не из религиозных соображений, а потому, что евреев не прельщает идея создать

---

[35] Примечания: 35
Гой — нееврей (*идиш*).

«больше шума».

Она снова расхохоталась.

— Много ты знаешь!

Может, Беатрис права? Может, «хтонический дебил» — просто эвфемизм для слова «гой»?

Хотя вряд ли. Встречая христианина, Струлович не видел перед собой существо из доисторической тьмы. Скорее это христиане видели его таким. Что уж там, порой он сам себя таким видел.

Однако факт остается фактом: Струлович не хотел, чтобы дочь вышла замуж за христианина — настолько же сильно, насколько его собственный отец не хотел, чтобы сын женился на христианке. При этом оба принимали неевреев такими, как есть, прекрасно с ними общались, уважали, любили. Самым закадычным другом отца был белый, точно мел, методист из Тодмордена[36]; партнером Струловича, которым он дорожил не меньше, чем собственной женой, — ультрамонтан[37] из Уэльса. И оба они, отец и сын, питали глубочайшее восхищение к нееврейским гениям

---

[36] Примечания: 36

Тодморден — город в Западном Йоркшире, неподалеку от Манчестера.

[37] Примечания: 37

Ультрамонтан — сторонник ультрамонтанства — направления в католицизме, отстаивающего идею неограниченной верховной власти римского папы и его право вмешиваться в светские дела любого государства.

— Моцарту и Бетховену, Рембрандту и Гойе («Гойе»!), Вордсворту и Шекспиру — вне зависимости от того, носил ли когда-нибудь последний фамилию Шапиро или нет. Струлович не имел ничего против неевреев как таковых. Возражения начинались, только когда речь заходила о том, за кого выйдет замуж — и, быть может, с кем будет спать, — его дочь. Только когда Струлович думал о завете, христианин становился троглодитом.

Так во имя этого завета, сколько же еще раз запихивал он ее в «мерседес»?

Струловичу повезло, что Беатрис не сбежала ни с одним из тех — за неимением лучшего определения — выродков, которые тискали ее грудь. Не сбежала даже на одну ночь. В припадках ненависти Струлович объяснял это расчетливостью, в припадках любви — здравым смыслом. Как бы там ни было, он продолжал шпионить за дочерью. В конце концов Беатрис настолько привыкла к тому, что отец ждет в тени на стоянке или сидит в темных очках за дальним столиком и читает «Файнэншл таймс», что, нагулявшись, просила подвезти ее до дома или брала взаймы, когда кончались деньги.

Однажды Струлович отправился вслед за Бе-

атрис на Ноттинг-Хиллский карнавал[38]. Она сказала, что едет к родне в Хендон[39] — он сам посадил ее на поезд, — однако Струлович вовремя проведал о ее планах. Он знал, что в толпе отыскать дочь будет нелегко, но все-таки помчался вслед за ней, несмотря на ненависть к уличным гуляниям, скоплению голых тел, первобытной музыке («первобытной музыке»? — да, первобытной музыке), пьянству и маскарадам, опасаясь самого худшего. Самое худшее представлялось ему в образе обкуренного растамана с куфией на голове, бьющего в стальной барабан. «Больше шума!» В конце концов Беатрис сама нашла Струловича. Должно быть, тревога высвечивала его, как маячок. Спокойно и даже насмешливо — она ведь прекрасно знала о его страхах — Беатрис представила отцу одетого в костюм белого мужчину почти одного с ним возраста, который пожал ему руку и сказал:

— Для меня честь познакомиться с вами, мистер Струлович.

---

[38] Примечания: 38

Ноттинг-Хиллский карнавал — ежегодный уличный парад в Ноттинг-Хилле (бедный район на западе Лондона). В карнавале участвуют в основном местные жители-иммигранты. Известен частыми столкновениями на расовой почве. Впервые прошел в 1966 г.

[39] Примечания: 39

Хендон — северо-западный пригород Лондона.

— Вы знаете, сколько лет моей дочери?

— Двадцать четыре.

— Это ваше предположение?

— Она сама мне сказала.

— Двадцатичетырехлетнюю девушку о возрасте не спрашивают. Это ваше предположение, и оно ошибочно. Ей тринадцать.

— Тринадцать целых семь восьмых, — уточнила Беатрис.

— Устами младенца, как говорится.

— Господи! — воскликнул поклонник Беатрис и отскочил от нее, точно от прокаженной.

Струловичу было его почти жаль, но все же он сказал:

— Если узнаю, что вы продолжаете с ней встречаться, вырежу вам сердце.

Почему-то угроза эта Беатрис нисколько не опечалила.

— Уж его-то никак нельзя назвать хтоническим, — заметила она, когда Струлович отвез ее домой. — Он заместитель мэра Кенсингтона и Челси.

— Что не мешает ему быть хтоническим, — ответил Струлович. — Могу назвать тебе с десяток хтонических мэров, не говоря уже о заместителях.

Угроза выпотрошить негодяя не опечалила Беатрис единственно потому, что она его не любила. Струлович знал: как только в игру вступит любовь, начнется самое трудное.

И вот она вступила. Все признаки налицо: отсутствие аппетита, рассеянность, следы зубов на шее. Однажды вечером Струлович вслед за дочерью приехал в Левенсхьюм[40] — последнее место на земле, где хотел бы ее увидеть, — выломал дверь квартиры и принялся душить первого, кто попался под руку. А попался ему чей-то дедушка, слишком старый, чтобы обесчестить Беатрис. Впрочем, он мог стоять на шухере, пока этим занимался кто-нибудь помоложе. Понадобилось пять человек, чтобы оттащить Струловича от старика. Был среди них и предполагаемый совратитель — настолько хилый, что не сумел бы обесчестить даже мышь.

— Тебе повезло, что ты его не убил, — заметила Беатрис. — И что никто не вызвал полицию.

— Для тебя я и есть полиция.

В тот же день у Кей случился инсульт — иначе Беатрис наверняка сбежала бы навсегда. Один из лечащих врачей, друг семьи, уверял, что неутиха-

---

[40] Примечания: 40

Левенсхьюм — бедный район Манчестера, где преобладает мусульманское население.

ющая борьба Струловича с дочерью могла внести определенный вклад, однако основную роль в этиологии болезни сыграли другие факторы. Кей всегда была женщиной хрупкой и нервной. Кроме того, сказалось долгое ожидание ребенка и беспокойство за судьбу Беатрис. Струлович все это знал. Опасно хотеть чего-либо слишком сильно.

Однако он был человеком суеверным. Когда поступаешь неправильно — страдаешь. Такова суть морали. У суеверия сфера влияния куда шире: когда поступаешь неправильно, страдает кто-то другой. Кто-то близкий. Быть может, жена все еще была бы с ним, если бы он позволил дочери растратить жизнь на того, на кого сама пожелает?

Тем более что дочь так и так растратит.

* * *

На кровати с пуховой периной, укутанный в шелка, освещенный люстрой Чихули[41] из абрикосового и темно-синего стекла, свет которой отражался в его сощуренных глазах, Шейлок

[41] Примечания: 41

Чихули, Дейл Патрик (род. в 1941 г.) — американский художник-стекловар.

лежал в силовом поле магического влияния, исходящего от горы Элдерли-Эдж, и думал о Джессике. Он проклял ее и похоронил в своем сердце. Как бы там ни обстояло дело с колдунами, Шейлок не мог ни воскресить Джессику, ни отменить своего проклятия. Не мог он и перестать беспокоиться о ней. История остановилась там, где остановилась. Шейлок сознавал окончательность этого приговора по отношению к себе, но невольно продолжал представлять, какое горе уготовано дочери.

Одно он знал наверняка: люди, которые ненавидят еврея настолько, чтобы нажиться на похищении его дочери и в открытую насмехаться над отцовским горем, никогда не смирились бы с тем, что дочь эта — еврейка. Породу не скроешь. Джессика утверждала, будто она дитя Шейлоку только по крови, не по душе, а негодяй Лоренцо с подельниками не уставали расписывать, как не похожа она на человека, которого стыдится называть отцом: какой милосердный (читай: «христианский») у нее нрав, как легко ей будет попасть на небеса, какая светлая у нее кожа — слоновая кость перед его черной амброй. Но если перечисляешь одни различия, значит, не видишь ничего, кроме сходства. То обстоятельство, что

Джессика сбежала, осыпанная отцовскими дукатами, лишь показывает, какую важную роль играл Шейлок в их расчетах. Сколько же времени пройдет, прежде чем Лоренцо проснется от того, что его руки прижаты к постели руками Шейлока?

До чего наивны дочери! Почему Джессика решила, будто любовь Лоренцо сделает ее христианкой, если в его характере и поведении нет совершенно ничего христианского — в том смысле, в котором понимают христианство сами христиане? Разве по-христиански присвоить себе чужое золото и драгоценности и даже в заду не почесать? Разве по-христиански потешаться над предательством Джессики и наблюдать, как она спускает все свои деньги за одну безумную ночь в Генуе? Расточительство связано с тонкими моральными различиями: промотать собственное состояние — предосудительно, поощрять к тому же самому другого — порочно. Или же в глазах христиан порок и есть добродетель? Быть может, добродетельно лишить человека всех мирских благ, если презираешь те средства, которыми он их нажил?..

Шейлок вспоминал Джессику маленькой на руках у матери и скорбел по ней так же, как скорбел

по Лии. Чем заслужил он ненависть собственной дочери? Выменять обезьяну на кольцо, которое подарила ему Лия, значит осквернить и себя, и его. Но что бы ни отдала за нее Джессика, обезьяна — в любом случае осквернение их предков и образования, всего того, чему с детства учили дочь они с Лией. «Я не отдал это кольцо за целую обезьянью рощу», — сказал Шейлок Тубалу. Говоря это, он видел перед собой рощу, дикие джунгли, бескрайние просторы звериного ничто, беззаконного, безбожного, где правит только жадность, гиены и слепой позыв к размножению.

Быть может, на самом деле Джессика ненавидела не его и не безвременно ушедшую мать, а идею, что джунгли необходимо цивилизовать — джунгли в ее собственном сердце и в сердцах ее приятелей? Христианство, в конечном счете, не более чем промежуточная стадия, настоящее различие существует только между иудаизмом и язычеством. И когда еврей чувствует, что в крови шевелится древнее язычество, ему не остается ничего иного, как отвергнуть те запреты, которые он привык соблюдать с детства. Христиане Джессику не интересовали. Ей просто хотелось в джунгли к обезьянам.

* * *

Наутро Струлович нашел своего гостя в саду. Было еще рано. И холодно. Одетый в то же пальто, что и накануне, укутанный в черный шарф, который, на взгляд Струловича, мог бы сойти за молитвенное покрывало, Шейлок сидел на своем глайндборнском табурете и беседовал с Лией. Последние капли росы на лужайке подсвечивали его снизу, точно огни рампы.

— Что же, Лия, судя по всему, я скоро стану христианином, — произнес Шейлок.

Частая тема в их разговорах. Как обычно, Шейлок подождал, не скажет ли жена чего-нибудь в ответ, но Лия, по-видимому, нашла эту идею слишком забавной для слов. Он знал, что она сейчас думает: «Хороший же из тебя выйдет христианин!»

Шейлок не мог отказать себе в том, чтобы поупражняться в остроумии.

— Только представь, Лия, — обычно говорил он в этом месте, — как я, весь в белом в честь святого таинства крещения, опускаюсь на церковную скамью, склоняю голову и жду, преисполненный блаженной благодарности, когда же начнется проповедь. «Милостию Господа нашего Иисуса

Христа, сегодня среди нас присутствует еврей, печально известный за…»

Шейлок поднялся с табурета и, шурша воображаемыми банкнотами, исполнил перед ней величественный танец — «Вальс скупердяев».

Однако на этом пришлось остановиться. Шейлок вновь опустился на табурет. Его обращение в христианство служило последним пределом их кладбищенских разговоров. Они могли вечно кружить вокруг, принюхиваться, точно акулы к запаху крови, но никогда не сумели бы нанести решающего удара. Прежде чем Шейлок успел принять христианство — или же сделать вид, будто принимает христианство, — огни рампы померкли.

Принял он христианство или нет?

Ответ прост: не принял.

Не получил такой возможности.

А если бы получил — что тогда?..

Заслышав тихие шаги Струловича, Шейлок торопливо поднялся и протянул ему руку. Наряд хозяина его впечатлил: халат с рисунком, достойным кисти Матисса, и шлепанцы с гербами. В ванной для гостей Шейлок обнаружил не менее великолепный халат и шлепанцы, однако в чужой одежде он ощущал себя неловко. К тому же

не хотел выглядеть так, будто чувствует себя как дома. Иначе Струлович мог бы испугаться, что он никогда не уйдет.

— Мне вас оставить? — мягко спросил Струлович.

Он был смутно польщен — нет, не смутно, а глубоко и откровенно польщен — тем, что Шейлок чувствует присутствие Лии у него в саду. Конечно, на всей вращающейся планете нет такого места, где не была бы похоронена Лия, и все же… Разделить убеждение Шейлока — одно, но обнаружить, что она похоронена именно здесь…

Струлович склонил голову. Он не был человеком религиозным, однако верил, что тела умерших близких делают землю священной.

— Мы обменивались шутками, — пояснил Шейлок. — Стараемся поддерживать легкий тон.

Оставалось надеяться, что с женой Шейлок более остроумен. В противном случае — бедная Лия! Подумать только: год за годом лежать в земле и делать вид, будто тебе смешно…

— Могу я спросить, каков предмет ваших шуток? Не мистер Г'инбе'г и его поход к врачу, я полагаю?

— Нет, Г'инбе'г тут ни при чем. Мы пытались представить, как я прохожу обряд крещения.

Мысль эта забавляет Лию.

— Я думал, она приводит ее в ужас.

— Привела бы, если бы это произошло на самом деле. Но время на нашей стороне: оно сомкнуло кулак, прежде чем успело выполнить свое предназначение. Хоть что-то оказалось на нашей стороне.

— Вы чувствуете, что лишили христиан желанного выигрыша?

— Ваши слова предполагают, что христиане знали, в чем их выигрыш.

— По-моему, они выразились достаточно определенно: «Ступай».

— «Ступай» ничего не доказывает. «Ступай» — всего лишь слово, которое власть имущие любят говорить евреям.

— Они ведь не просто хотели, чтобы вы ушли с глаз долой, не так ли? Они хотели, чтобы вы поступились собой, хотели отнять у вас веру и самоуважение…

— И деньги, не забывайте про деньги.

— Так что христиане прекрасно представляли, в чем их выигрыш.

— Кто знает? Быть может, не только время сомкнуло пальцы в кулак, прежде чем меня успели крестить. Вдруг христиане сказали то, что хотели

сказать, и готовы были этим довольствоваться? Довольствоваться тем, что спасли одного из своих и обобрали меня у всех на виду. Во время показательного процесса главное — создать видимость. А вы можете не сомневаться: чем бы дело ни начиналось, к концу оно превратится в показательный процесс. Как пережидовать жида. Что, если христиан не слишком волновало, пройду я процедуру крещения или нет? Конечно, своим приказом они хотели меня уязвить, однако когда *status quo ante Iudaeus*[42] был восстановлен, у них тут же нашлись дела поважнее. Удовлетворение получено, купец победил, успев насладиться мазохистским восторгом поражения. В конечном счете, мне же хуже, если я продолжу упрямо жидовствовать, обездоленный, униженный, осиротевший, лишенный христианской благодати, способной спасти мою душу. Не думаете же вы, будто их действительно интересовало состояние моей души?

Струлович ненадолго задумался.

— Возможно, в каком-то смысле интересовало. Христиане были бы не прочь хвалить самих себя, что сумели перекрасить вашу душу в другой

---

[42] Примечания: 42
Положение, существовавшее до еврея (*лат.*).

цвет.

— Вот именно!.. Но главное, что они победили. Их собственные души, по-видимому, находились в исправном состоянии. Они разглагольствовали о жалости, а сами потребовали жестокой мести. Очень по-христиански.

— Неужели они бы поверили в искренность вашего обращения, помня, с каким презрением вы относитесь к христианству?

— Кто знает? С одной стороны, христиане считали евреев заточенными в своей вере, чтобы принять крещение, с другой — не верили, что можно узреть сияние Иисуса и не предаться ему. Что касается меня, по первому пункту они правы. Надеюсь, я бы скорее перерезал себе горло, чем склонился перед размалеванной куклой.

— Значит, когда вы сказали, что довольны приговором, то говорили не всерьез?

— Я ответил на вопрос в том же тоне, в каком мне его задали. «Доволен ли ты, жид?» Что это, как не издевка? У меня не осталось воли к борьбе, но своим ответом — «Доволен» — я хотя бы отплатил им той же монетой.

— Иными словами, вы не собирались принимать крещение?

— Я сказал: «Надеюсь, что перерезал бы себе

горло». Не более. Не стану притворяться, будто знаю, как бы поступил, если бы христиане не просто поздравили друг друга с победой, а действительно потащили меня в церковь. Однако доволен я бы не был в любом случае. Разве я произвожу впечатление довольного человека?

Жаль, что Шейлок не надел приготовленные халат и шлепанцы. Струловичу хотелось бы, чтобы новый знакомый почувствовал себя как дома. Остался погостить. Вкусил немного того довольства жизнью, которое так презирает. Они бы вместе погуляли по окрестностям. Полюбовались зимним пейзажем. Обменялись воспоминаниями. Или просто продолжили рассуждать о евреях. Тема эта утомляла Струловича в теории, но не на практике, а жар, с которым говорил Шейлок, поражал его и восхищал. «Я — еврей, они — христиане» — прямолинейно и без обиняков. Быть может, так даже лучше? Не надо делать вид, будто можно навести мосты. Только бесконечное, грубое, неразрешимое противостояние. Зато обе стороны знают, чего ждать друг от друга. Знают врага в лицо. И будут знать до конца времен.

До всеобщего крещения евреев.

Какая экстремальность слова и мысли… Какая бездна недоверия и враждебности… Если Шейлок

действительно останется погостить, ему нужно сдерживать себя в обществе Беатрис, думает Струлович — человек, вечно пребывающий в страхе перед дочерью и за дочь.

Шейлок прошелся немного по саду и встал на берегу пруда, чтобы посмотреть на рыб.

— Вы их едите? — спросил он.

— Нет, они чисто декоративные, — ответил Струлович.

Ему пришло в голову, что Шейлоку, быть может, подобное понятие незнакомо. Если оставить его в доме, не стащит ли он одну такую рыбку на обед? Выловит из пруда своими волосатыми пальцами и запихает, еще живую, себе в глотку… Я ведь даже толком не знаю, что он за человек, подумал Струлович. В ушах раздался голос матери: «Ты что, просто взял и пригласил его домой?» Жена, когда она еще была его женой, сказала бы то же самое. Да и Беатрис: «Кто он такой, папа?»

Интересно, мужчины вообще менее осторожны, чем женщины, когда приглашают людей к себе в дом? Или это его личная особенность?

— Хотите кофе? — спросил он наконец.

Шейлок улыбнулся.

— Учитывая, как вы, англичане, варите кофе, я предпочел бы чай.

— У меня хороший кофе. Я заказываю зерна из-за границы.

Шейлок соединил ладони вместе и развел их в стороны. Уже не в первый раз он напомнил Струловичу человека, который покорно дает себя арестовать.

— Мне пройти в дом?

— Могу накрыть на стол в саду.

— Слишком холодно, — ответил Шейлок и, плотнее запахнув пальто, направился к крыльцу.

Театральный жест. Конец очередной сцены. И снова Струловичу подумалось, что он совсем не знает этого человека.

— Не представляю, как вы обычно завтракаете, — сказал Струлович, когда они вошли в дом.

— Как все — за столом, при помощи ножа и вилки.

— Выражусь иначе: не представляю, что вы обычно едите на завтрак.

— С меня хватит кусочка поджаренного хлеба.

— Надо было спросить у вас вчера, что приготовить, и…

— И очень ли я разборчив в еде? Одержимость посюсторонним. Да, очень. А вы, я так понимаю, нет?

— Не то, что входит в уста, оскверняет человека, — напыщенно произнес Струлович, — но то, что выходит из уст, оскверняет человека[43].

— По-вашему, Иисус — главный авторитет в вопросах кашрута?

— Он позволяет мне не соблюдать утомительных предписаний и оправдывать это возвышенными чувствами.

— Вы видите в его словах возвышенные чувства, а я — просто софистику. Разве не может осквернять человека и то, что выходит из уст, и то, что в них входит?

— Зачем вообще говорить о скверне?

— Я и не говорю.

— Но если никакой скверны нет…

— Зачем тогда проводить различия? А затем, что различение в любом случае полезно. Жизнь, если она чего-то стоит, не должна быть случайной и неразборчивой. Я не желаю запихивать себе в рот все, что попало, как не желаю познать все доступные удовольствия. Когда я полюбил Лию, то понял, что не хочу любить других. Я отличал ее от прочих женщин, а она меня — от прочих мужчин. Кошерное питание — это следование

---

[43] Примечания: 43
Евангелие от Матфея 15:11.

морали, все равно что верность в супружестве. Разборчивость сама по себе служит добродетели.

— Вы уверены, что не путаете мораль с неврозом?

— В соблюдении меньше невроза, чем в нарушении. Вы, светские евреи, гораздо более щепетильны в несоблюдении закона, чем правоверный иудей в следовании ему. Вам постоянно приходится помнить, чего не делать: какие праздники не отмечать, про какие мицвы забыть, от каких обязанностей уклониться.

— Ваши слова предполагают, что мое несоблюдение основано на принципе. Я не столь щепетилен. Скорее, я просто не обращаю внимания.

— В какой-то момент вы сделали выбор — решили не соблюдать. Вот он, ваш невроз. Этот первоначальный выбор, что бы вы там ни говорили, наверняка был основан на принципе. Если не считать питания, у вас чисто еврейский склад ума. Только посмотрите, как фанатично вы проводите границы — между идеями, между людьми. Отгораживаете себя от других, отгораживаете дочь…

— Пытаюсь отгораживать дочь.

— Пытаетесь с необычайным упорством. У вас

кошерный ум. Чем же вам не угодил кошерный желудок?

— Просто не хочу обижать других или причинять им неудобства.

— Разве моя диета вас обижает или причиняет неудобства?

— Мне? — рассмеялся Струлович. — Нет. Пока нет.

— Под вашей крышей я готов обходиться жареным хлебом.

— Подозреваю, что тем христианам, с которыми отказывались обедать, вы этого не говорили.

— Думаете, это что-то изменило бы? Думаете, они прониклись бы ко мне большей симпатией?

— По крайней мере, меньшей антипатией.

— Вы судите по личному опыту? Если да, то скажите: разве вас любят за то, что вы даете — за ваши пожертвования и благодеяния? Или же наоборот, испытывают к вам еще большее отвращение, потому что у вас есть средства на добрые дела?

— Отвращение?

«Я не ты, — подумал Струлович. — Я не вызываю неприязни. Я другой человек, живущий в другое время».

Однако ему было почти жаль, что это так.

— Если мир тебя отвергает, найди себе другой, — произнес Шейлок. — В душе они никогда вас не простят. Так что можете точить нож о подошву.

— Таков ваш совет?

Шейлок не ответил.

— И все же порой вы обедали с христианами, — заметил Струлович.

— Да, и до сих пор об этом жалею. Но я ходил к ним не для того, чтобы завоевать любовь. Я хотел им насолить. Хотел, чтобы пища, которую они ели, показалась им крысиным ядом. Должны ведь в жизни быть удовольствия — не все же работать и молиться.

«Ага, — подумал Струлович, — это я могу понять».

Повисло молчание.

Шейлок жевал сухой хлеб.

Струлович размышлял, правда ли у него кошерный ум.

Беатрис…

Где Беатрис?

Не могла ли дочь подслушать их разговор? А если бы подслушала, что бы она подумала — современная девушка, которая делает, что хочет, целует, кого хочет, ест, что хочет?

«Кто это такой, папа? Что он здесь делает? Пытается тебя обратить?»

А как отреагирует Шейлок на встречу с ней? Не разобьется ли у него сердце при виде живой дочери, которая еще не покинула отчий дом?

— Итак, ваша дочь… — задумчиво произнес Шейлок, глядя в чашку с кофе. Финальное многоточие свидетельствовало, что он идет в ногу с мыслями Струловича. — Она живет здесь?

IX

Среди наиболее привлекательных качеств д'Антона — а по мнению Плюрабель, он весь состоял из привлекательных качеств, — была способность слушать. В особенности слушать ее. Стоило Плюрабель упомянуть, что ей чего-то хочется — неважно, для себя или для друга, — как д'Антон начинал подыскивать способ это что-то раздобыть.

В случае с девушкой для футболиста Грейтана Хаусома дело обстояло так же. Едва Плюрабель узнала о слабости Грейтана к еврейкам, как тут же постановила, что их долг — найти ему еврейку. А Плюрабель стоило только что-нибудь постановить — в особенности когда речь шла о счастье Грейтана, — чтобы д'Антон незамедлительно начал действовать.

Ему сразу же вспомнилась студентка, которую он заметил в Академии Золотого треугольника. Заведение это д'Антон со свойственным ему великодушием одаривал иногда своим временем, выступая с публичными размышлениями о красоте и аскетизме. Лично для себя он не находил во

внешности девушки ничего привлекательного, однако, обладая даром альтруиста проникать в чужую эстетику, даже ограниченную чужую эстетику, мог представить, что внешность ее может казаться привлекательной кому-нибудь другому — как тайский скорпион, вымоченный в виски, или же черное постельное белье. Было в ней самой или, быть может, в ее фамилии, на которую, впрочем, д'Антон вряд ли обратил особое внимание, нечто такое, что засело у него в памяти. В ответ на великодушное предложение Плюрабель он улыбнулся и постучал себя по носу.

— Предоставь это мне! — сказал он таким оживленным тоном, какого она прежде никогда от него не слышала.

Ей девушка сразу понравилась, и она тут же забыла, что добывали еврейку для Грейтана.

— Смотрю на тебя и вижу себя в твоем возрасте, — вздохнула Плюрабель, вспоминая, вероятно, то время, когда еще не решила слегка подкорректировать внешность.

Узнав о том, что девушка изучает искусство перформанса, Плюрабель пришла в восторг и выразила надежду, что новая знакомая выступит когда-нибудь на вечеринке в «Старой колокольне».

— Можно построить для тебя сцену, — добавила она.

Искусство перформанса в сцене не нуждается, застенчиво объяснила девушка. Художник-перформансист ломает стереотипные представления о том, что такое пространство искусства, и нарушает границы того пространства, которое люди привыкли считать личным.

— Искусство должно вторгаться туда, где оно обычно не ко двору, — подытожила девушка.

Плюрабель слушала с восхищенным изумлением. Такая не по годам развитая! Такая яркая и богато украшенная, хотя единственным ее украшением служила природная красота.

— Здесь твое искусство всегда ко двору, — заверила Плюрабель. — Мой дом — твой дом. Вторгайся в него, сколько душе угодно. Я специально приглашу важных персон, чтобы ты смогла нарушать границы их личного пространства.

— Я еще к этому не готова, Плюрабель, — ответила девушка, очаровательно краснея.

— Зови меня Плюри.

Молодой еврейке показалось, что небо у нее над головой сейчас взорвется, столько в нем звезд.

Однажды вечером Плюрабель предложила одеться мальчиками. Девушка сомневалась — не

знала, как будет выглядеть, — но все же согласилась. В «Старой колокольне» было несколько шкафов театральных костюмов — специально для переодеваний.

— Тебе идет, — объявила Плюрабель, повязывая подруге шарф и надевая ей на голову шапочку. — Мы с тобой теперь братья.

Грейтан Хаусом, который, естественно, тоже присутствовал за ужином, был сражен наповал.

С тех пор они часто устраивали подобные переодевания. Кончалось это всегда одинаково: Плюрабель осыпала девушку с левантийскими губами жаркими поцелуями, хохоча, как безумная, и называя ее «своим еврейчиком».

А Грейтан пожирал молодую еврейку глазами.

Вот так, без ведома Саймона Струловича, его дочь стала наперсницей Анны Ливии Плюрабель Клеопатры Прекрасное Пленяет Навсегда Кристины.

X

— В некотором смысле — да, она живет здесь, — ответил Струлович. — По крайней мере, официально. Но где она живет мыслями и сердцем… Короче говоря, мы близки к окончательному разрыву.

— Чьих же это рук дело? — поинтересовался Шейлок. — Ваших? Или ее?

— Не уверен, что мы настолько отделены друг от друга, чтобы я мог ответить на ваш вопрос. По-моему, мы сначала пытаемся приблизить финальное объяснение, а потом одновременно делаем шаг назад. Только благодаря этому она до сих пор здесь… только благодаря этому мы до сих пор вместе.

— Синхронный гнев?

— Лучшего определения я бы и сам не придумал. Но тут и не менее синхронный страх перед гневом. Думаю, мы оба боимся решающего столкновения. В глубине души мне кажется, что ей меня жаль.

— Жаль?

— Да. По крайней мере, с тех пор, как заболела

Кей. Раньше Беатрис считала меня ненормальным. Теперь она считает меня ненормальным, который старается, как может, если учесть, что у него нет ни способностей к отцовству, ни помощников.

Шейлок хотел что-то ответить, однако беседу прервало появление самой Беатрис. Наряд на ней был не самый выигрышный: темно-синий халат от Стеллы Маккартни, который Струлович подарил ей на прошлый день рождения, и обмотанное вокруг головы полотенце. Несколько выбившихся мокрых прядей обрамляли лицо, придавая Беатрис, несмотря на резкость движений и кожу цвета подгоревшего масла, сходство с обворожительной русалкой. Казалось, она только что вынырнула из пруда, где плавала вместе с декоративными рыбами. Струловичу сделалось больно от того, что в его глазах дочь так прекрасна.

— Помянешь черта, он и появится, — заметил он.

— Спасибо, папа.

Ему не хотелось представлять их друг другу, но делать было нечего.

— Моя дочь Беатрис. Шейлок.

— Угу, — кажется, сказала Беатрис, если вообще что-то сказала. Вечно она мямлит. Никакого ин-

тереса к новому знакомому Беатрис не проявила — типичное, близкое к неучтивости поведение занятого собственными мыслями подростка. Спросила только, давно ли они с папой знакомы, сделала вид, будто выслушала ответ, поинтересовалась, какие у них планы на сегодня. Все это с полнейшим безразличием.

Поняла ли она, с кем разговаривает?

— Мы пока не обсуждали, чем займемся, — ответил Шейлок. — У вашего отца, наверное, дела. А я с удовольствием просто посижу здесь и почитаю газету или послушаю музыку, если это не будет вам мешать. Есть у вас что-нибудь из Баха или Джорджа Формби?

Беатрис поглядела на отца. Она не знала, кто такой Джордж Формби. Это первое поколение, у которого нет памяти о прошлом, подумал Струлович и пришел ей на помощь.

— «Когда я мою окна», — подсказал он.

— Это явно не Бах, — заметила Беатрис.

— Нет, Формби гораздо смешнее.

— Комическая музыка меня не забавляет, — ответила она.

— Лично мне у Формби больше всего нравится хит «Беззаботный я», — вставил Шейлок.

Он что, сам над собой подшучивает? Или смеет-

ся над Беатрис? А если второе, то с какой целью?

«Неужели он заигрывает с моей дочерью?» — подумал Струлович.

Беатрис, похоже, ничего не заметила — по крайней мере, осталась совершенно равнодушна. Она сняла с головы полотенце и тряхнула волосами, окропив легчайшими брызгами дорогие шерстяные брюки Шейлока.

Или она тоже так заигрывает?

— А как насчет Эла Джолсона? — спросил Шейлок.

Беатрис вновь покачала головой. Темные века, подумал Струлович. Несмотря на всю свою развитость, Беатрис жила в пузыре электронного невежества, по сравнению с которым VII век — просто парад просвещения. Струловичу было стыдно за дочь, которая так мало слышала о том, что происходило до ее рождения. А еще он боялся, как бы этот новый, беззаботный, если не сказать игривый, Шейлок не вздумал исполнить для нее «Мамочку» Эла Джолсона, сопроводив пение джазовым танцем. Беатрис не знала ничего из того, что знал в ее возрасте Струлович, зато прекрасно понимала культурные нормы современного общества — понимала, что белому певцу непозволительно изображать из себя чернокожего.

— Диски вон на той полке, — ответила Беатрис. — Выбирайте, что понравится. Они не мои. И не волнуйтесь — вы никому не помешаете. Я все равно ухожу. Мне в колледж к двенадцати.

Беатрис выпятила подбородок и вызывающе глянула на отца: а он еще говорит, что она несерьезно относится к учебе!

— Что вы изучаете? — спросил Шейлок вполголоса, словно желая исключить Струловича из разговора. Это был даже не вопрос, а ласковое прикосновение.

— Общий курс искусствоведения, практически вводный. Самой мне хотелось бы больше сосредоточиться на перформансе, — ответила Беатрис — довольно застенчиво, как показалось Струловичу, словно дочери непривычно, что описанное ей занятие называют учебой.

Струловича захлестнула волна стыда. Искусство перформанса! Почему бы не сказать просто «выпендреж»? Струлович не был уверен, знаком ли Шейлок с этим жанром — в курсе ли он, что так называется публичное освобождение от всех внутренних барьеров. Учитывая его отношение к карнавалу, вряд ли Шейлок пришел бы от перформанса в восторг. С другой стороны, кто знает? Разве мог Струлович предположить, что

ему нравится Джордж Формби? Конечно, Джессика попортила отцу немало крови, но она, по крайней мере, не заявляла, что хочет изучать произвольные пределы отношений между зрителем и художником. «Неподходящее занятие для еврейской девушки», — ответил бы Шейлок, захлопывая окна. Струлович придерживался того же мнения, хотя большинство известных ему художниц-перформансисток составляли именно еврейки.

Быть может, на самом деле они изучают пределы отношений между еврейскими девушками и их отцами?

Быть может, экосексуальная эксгибиционистка Энни Спринкл, урожденная Эллен Штейнберг — наглядный пример того, что получаешь, когда пытаешься привить дочери скромность?

Шейлок слегка склонил голову со старомодной галантностью, словно Беатрис сообщила ему, что учится на белошвейку.

— А что это подразумевает?

Он это специально, чтобы меня смутить, подумал Струлович. Хочет удержать ее на все утро, поощрять, подлавливать, трепать мне нервы.

Беатрис улыбнулась.

— Что подразумевает роль художника-перфор-

мансиста?

— Да.

— Непременно расскажу, когда буду посвободнее, — обольстительно посулила Беатрис.

Знает ли она, кого обольщает?

Что-то завлекающее в ее улыбке заставило Струловича насторожиться. Уж не собирается ли она пригласить Шейлока поехать с ней в колледж? Струлович так и видел, как она представляет его друзьям: «Привет, ребята! Это Шейлок. Слышали про такого? Я тоже не слышала, но он клевый». Может, даже возьмет его с собой на занятие по перформансу. Он представил, как Шейлок схлестывается в споре с преподавателями Беатрис, не сдерживаясь, как должен сдерживаться современный еврей, не понимая, в какую медвежью яму попал. Однако на смену этому страху тут же пришел другой: что, если у Шейлока на его дочь какие-нибудь виды? Не эротические — разумеется, не эротические! — а собственнически-отцовские, хотя кто может сказать, где заканчиваются собственнически-отцовские виды и начинаются эротические? Ему почудилось, или Шейлок правда глядит на нее с жадностью? «Художник-перформансист, говоришь?..» Струлович по себе знал, что мужчина,

сохраняя неподвижное лицо, может придирчиво осмотреть женщину со всех сторон. Да и почему бы Шейлоку не рассматривать Беатрис, соблазнительную в старомодном смысле слова, более пышнотелую и фигуристую, чем нынче модно, не сглаженную, как обглоданная морковка, а сочную и полнокровную, точно героиня Песни песней. Точно Лия. Или вторая Джессика. Да, несомненно, Шейлок увидел и оценил ее красоту. А Беатрис заметила его восхищение — разве могла она не заметить? — и тоже оценила.

«И ты привел этого человека к себе в дом? — услышал Струлович голос матери. — Тебе что, без того с дочерью хлопот мало?»

Невозможно представить, чтобы Шейлок прибыл с настолько мефистофелевской миссией — с четким намерением найти замену Джессике. Нет, разумеется, нет. Однако человеку, потерявшему дочь так, как потерял ее Шейлок, недолго повредиться в уме. Кто знает, до чего может довести безумие?

Око за око, дочь за дочь.

Почему у Струловича есть дочь, а у него нет?!

Струлович ощутил, насколько несправедливы эти подозрения, только когда Беатрис, проглотив остывший кусок поджаренного хлеба, сказала

Шейлоку, что ей было приятно познакомиться, а Шейлок вновь торжественно склонил голову и без всякой иронии или заговорщицкой усмешки ответил:

— Взаимно. Удачи в учебе.

Струловичу стало стыдно. Если отец не может видеть дочь в обществе другого мужчины без того, чтобы не вообразить какую-нибудь гнусность, значит, что-то где-то не так. Не будем ходить вокруг да около, подумал он, со мной самим что-то не так. Беатрис не обязательно покупать себе похотливую обезьяну, символизирующую мир без моральных устоев. Я и есть похотливая обезьяна.

Заметил ли Шейлок? И не пытается ли показать, что заметил?

Прежде чем уйти, Беатрис спросила, не сверился ли Струлович с ежедневником.

— Непременно сверюсь, — ответил он. — Обещаю.

— В прошлый раз тоже обещал.

— На этот раз правда сверюсь. Я подсуну записку с датой тебе под дверь.

— Просто пошли эсэмэску.

Они молча слушали, как Беатрис бегает по дому и собирается. Шум, который производила дочь, складывая вещи и разбрасывая книги — судя по

звуку, она разбрасывала книги, хотя Струлович не верил, что они у нее есть, — обычно его раздражал. Казался излишней попыткой настоять на собственной независимости. Сегодня он невольно слышал этот грохот ушами своего гостя. Как же я буду скучать по ней, если она уйдет, подумал Струлович.

Вернее, *когда* уйдет.

Молчание ревело у него в ушах.

— Красивая девушка, — произнес Шейлок, когда входная дверь захлопнулась за Беатрис. — Приятная.

— Красивая — да. Приятная… не уверен.

— Могу судить только о внешности — о том впечатлении, которое она производит.

— Насчет внешности согласен. А то, что в ней неприятно, присуще им всем. Беатрис наделена природной проницательностью, но проницательность эта не настолько сильна, чтобы пересилить культуру, в которой она родилась.

— Еще немного, и вы заговорите, как старик.

— А сами вы разве говорили иначе? Разве отец по определению не старик? Свою дочь вы вообще держали взаперти.

— У меня не было выбора. Я потерял одну женщину и не хотел потерять другую.

— Это и называется быть стариком.

— Я знал, что ей грозит опасность.

— Какая? Пустые дурачества и барабанный бой? По-вашему, это такая уж серьезная опасность? Вы не допускаете, что мы сами создаем то, чего боимся, когда преувеличиваем его значение? Дом ваш был почтенным домом, но почтенный дом — не место для молоденькой девушки.

— Не хотите ли вы сказать, что позволяете дочери творить все, что вздумается?

— Я не в силах ей помешать.

— Но пытаетесь.

— Пытаюсь. Мой святой долг — попытаться.

— Я делал не больше вашего.

— И оба мы потерпели неудачу.

— Вы еще не потерпели.

Струлович долго смотрел в горящие, сумрачные глаза гостя. У него самого глаза были ничем не замечательные — неопределенного, жемчужно-серого цвета, точно Северное море в ненастный день. Глаза Шейлока напоминали два глубоких озера умбры, похожей на старую масляную краску — не столько отреставрированную, сколько отполированную случайными прикосновениями, — к которой вернулся первоначальный блеск. Они были темны той рембрандтовской

темнотой, что таит в себе свет. Когда Струлович в них заглянул, ему почудилось, будто он стоит в церковной крипте. Мы совсем не похожи друг на друга, подумал он, если не считать наших чувств к дочерям. Так что же видят в нас обоих христиане — как понимают, что перед ними еврей?

По пристальному взгляду Струловича Шейлок понял, о чем тот думает.

— Нет, — произнес он, — мы совсем несхожи. Ни внешне, ни образом жизни. Вы не соблюдаете кашрут, не посещаете синагогу и, готов поспорить, не знаете ни слова на иврите. Так что же мы имеем в виду, когда говорим, что оба мы евреи?

— Меня больше интересует, что имеют в виду христиане. Что общего в нас видят?

— Нечто более древнее, чем они сами.

— В вас — возможно… Не хочу сказать ничего обидного.

— Я знаю, что вы хотите сказать. Но в вас тоже. Дело не в поношенности. Дело в неспособности оставаться безучастными. Вы вот считаете, что не верите, но все же слушаете древний наказ.

— В этом я ничем не отличаюсь от мусульманина или христианина.

— Нет, отличаетесь. Христиане так старательно приспосабливались к современной жизни, что

перестали слушать. Поют рождественские песни и называют это верой. Вскоре все они исчезнут. Долгое междуцарствие завершится, и останутся только евреи и язычники — как раньше.

— И мусульмане.

— Да, мусульмане. Но они существуют особняком — в конфликте со всеми, кроме самих себя. Взгляните на себя — вы раздвоены. Ислам не поощряет ту шизофрению, в которой вы живете. Когда мусульманин слушает древний наказ, то внимает всем существом и находит в этом своего рода покой.

— Покой? А как же Ирак, Сирия, Афганистан?!

— Перестаньте! Не надо перечислять все неблагополучные страны Ближнего Востока. Я говорю о внутреннем ощущении покоя, каковы бы ни были его политические последствия. Мы, евреи, относимся к себе с гораздо большим подозрением. Постоянно задаемся вопросом, не пришло ли время переметнуться на другую сторону, хотя прекрасно знаем, что нет такой стороны, куда нам хотелось бы переметнуться.

— В случае с моей дочерью это не так. Она прирожденный перебежчик.

Шейлок понял, что Струлович приглашает его завести более откровенный разговор.

— Так это и есть то финальное столкновение, о котором вы говорили?..

Вместо ответа Струлович сварил еще кофе. Он надеялся, что Шейлок похвалит получившийся напиток, однако тот не был щедр на комплименты.

Наконец Струлович сказал:

— Беатрис хочет привести своего нового парня и просит назначить день для племенного смотра.

— Племенного смотра? Вы что, будете обследовать его, как собаку?

— Вряд ли это входит в программу. Вообще-то Беатрис не говорила «для племенного смотра». Она сказала «для знакомства». А я уже толкую ее слова на свой лад. Раз она хочет, чтобы мы с ним познакомились, значит, все серьезно. Я давно боялся этого часа.

— Вам повезло, что ее интересует ваше мнение.

— Повезло! Господи, ей же шестнадцать! Мое мнение, как вы это называете, для нее закон.

— Беатрис достаточно взрослая, чтобы не подчиняться закону. Не всякую дочь волнует, что думает ее отец.

— Мою не волнует. Просто она чувствует себя

виноватой перед матерью. Общаясь со мной, Беатрис выражает уважение к ней.

Шейлок прочистил горло.

— Что же тогда вас так беспокоит?

Струлович показал ему все десять пальцев. Если перечислять причины беспокойства, они просидят здесь до Судного дня.

Но начать с чего-то надо.

— Вот что самое смешное. В последний раз, когда Беатрис пообещала привезти своего парня, я ожидал увидеть растрепанного пацана в кроссовках, с кольцами в носу и политическими взглядами… в общем, взглядами растрепанного пацана в кроссовках и с кольцами в носу. Оказалось, что это университетский преподаватель. Убеждения у него именно такие, как я предполагал, но, по крайней мере, он чист.

— Но он не…

— Конечно же «не». Беатрис встречается только с теми, кто «не». Я сказал, что он чист. Точнее, слишком чист. Когда он называл меня «мистер Струлович», то картавил так, словно горло полоскал. Ирония в следующем: пока я старательно придумываю, как бы отвадить от него Беатрис, она сама его бросает…

— …и находит кого-нибудь похуже?

— Гораздо хуже. Я-то думал, Беатрис притащит из колледжа очередного иудеофоба с магистерской степенью по изобразительному искусству, который принципиален до ужаса, ненавидит деньги и поддерживает ИГИЛ, а она подцепила необразованного убер-гоя с соседней улицы. Парень, наверное, и книги-то никогда в руках не держал, а о Ноаме Хомском[44] уж точно не слышал. Понятия не имею, как или где она с ним познакомилась. На матче по рестлингу, наверное. Или в парке развлечений. Я сам виноват. Беда пришла, откуда не ждали. Если бы я не внушал дочери, что ее долг — выйти замуж за еврейского мальчика, она, быть может, нашла бы себе милого, скромного вышивальщика ермолок.

— Беатрис так и так не сумела бы вам угодить. Что, если бы вышивальщик ермолок оказался женщиной?

— Я бы не возражал. Никогда не мечтал о внуках.

— Вас бы в любом случае что-нибудь не устроило.

— Возможно. Но «что-нибудь» — одно, а «все без исключения» — совершенно другое.

---

[44] Примечания: 44

Ноам Хомский (род. в 1928 г.) — американский языковед, философ, публицист.

— Насколько все серьезно?

— Очень серьезно — иначе Беатрис не стала бы настаивать на знакомстве. Она хочет получить мое благословение, а это серьезно.

— Значит, они встречаются не так уж давно.

— Беатрис на свете-то живет не так уж давно. Хотя и слишком давно для моего спокойствия. Сейчас моей дочери шестнадцать, но сколько ей было, когда они познакомились? И как далеко все зашло?

— Почему бы ее саму не спросить?

— Она не ответит.

— Я так понимаю, вы уже проверяли ее телефон?

— И телефон, и компьютер. Нелегкая, скажу я вам, задачка. Паролей навесила больше, чем на банковском хранилище. К тому же следов оставлять нельзя, иначе… — Струлович изобразил, что перерезает себе горло, — …я труп.

— Вполне вероятно, Беатрис ничего не скрывает. Может, он вам еще понравится.

— Дело не в том, понравится он мне или нет. В любом случае его кандидатура даже не рассматривается — по очевидным причинам. По неочевидным тоже.

— Так вы с ним знакомы?

— Я о нем наслышан. Все в округе о нем наслышаны. Он известный повеса. Играет в футбольной команде «Графство Стокпорт».

— И это плохо?

— С точки зрения болельщика — очень. «Графство Стокпорт» даже не входит в Футбольную лигу Англии. Однако как местная знаменитость парень пользуется некоторой славой. На севере, по крайней мере. Отвратительно ведет себя на поле, появляется на телевикторинах в компании юмористов, по-идиотски хохочет над их остротами, сам шутить не умеет и рекламирует кроссовки и нижнее белье. Можете вы представить, чтобы ваш зять рекламировал нижнее белье? Правда, только на местных автобусах, но от этого почему-то не легче. В придачу ко всему, он еще и провинциал.

— Вы бы предпочли обнаружить в поклоннике дочери столичные недостатки?

— Не волнуйтесь, столичные тоже имеются. Парень постоянно мелькает в колонках сплетен и меняет жен, как перчатки. Не удивлюсь, если он до сих пор женат как минимум на одной. Не так давно его дисквалифицировали на семь матчей за то, что он исполнил «зиг хайль», когда забил гол. Судя по всему, первый за два сезона. Потом,

правда, реабилитировали.

— Первый «зиг хайль»?

— Первый гол.

Шейлок немного помолчал, обдумывая услышанное, и наконец спросил:

— Вы уже решили, что ему скажете?

— Поинтересуюсь, почему нацист встречается с еврейкой?

— Могу заранее предположить, каков будет ответ: хочет смыть с нее позорное пятно еврейского отцовства.

— Теперь не те времена. Парень слишком глуп и слишком хитер, чтобы сказать подобное. Он публично извинился и все списал на перевозбуждение. Говорит, что хотел просто взмахнуть рукой, и сам не знает, как у него вышло нацистское приветствие. Пообещал больше так не делать. А вдруг Беатрис для него — способ загладить свою вину?

— Может, он искренне.

— Что искренне?

Шейлок взглянул в окно на Элдерли-Эдж, будто надеялся найти там слово, которого не мог подобрать.

— Сокрушается?

— Признаюсь, это понятие у меня с ним не

вяжется.

— А вдруг вы в нем ошиблись?

— Как же это проверить?

— Существуют способы выяснить.

— Какие? Спросить напрямую? «Вы сокрушаетесь о содеянном, мистер Хаусом?» Он решит, что я предлагаю ему что-то сокрушить. Сокруши противника, забей гол и можешь переспать с моей дочерью.

— И будет не так уж далек от истины. Скажите ему, что за благословение придется заплатить. Он должен стать достойным.

— Это как? Развестись с остальными женами? Окончить курсы ораторского искусства?

Шейлок не стал утруждать себя ответом. В его молчании, как показалось Струловичу, слышалось что-то недоброе — какое-то напускное злорадство.

Струлович приподнял одну бровь.

— Не хотите ли вы сказать, что футболист должен принять нашу веру?

— Хотя бы сделать первый шаг. Проявить готовность.

Струлович рассмеялся.

— На его пути к обращению еще больше преград, чем на вашем.

— На моем пути к обращению была лишь одна преграда — непреодолимая неприязнь к христианству. Если у вашего будущего зятя слабость к еврейкам, он может оказаться сговорчивее. Его нелюбовь к чтению тоже вам на руку. Богословская безграмотность в данном случае плюс.

— Вопрос не только в том, что приемлемо или неприемлемо для него.

— Разумеется. Желания будущего тестя тоже надо учитывать. Не думайте, будто я недооцениваю трудностей. Однако их вполне возможно преодолеть.

И Шейлок изобразил своими волосатыми пальцами щелкающие ножницы. При виде этого жеста Струловичу на ум пришел сначала Матисс, затем красноногий портной из «Неряхи Петера»[45] и наконец еврей, созданный воспаленным средневековым воображением, который крадет и кастрирует христианских младенцев.

— Господи ты боже мой! — вырвалось у Струловича.

---

[45] Примечания: 45

«Неряха Петер» — сборник нравоучительных детских стихов немецкого психиатра Генриха Гофмана. В русском переводе — «Степка-растрепка».

XI

Когда в последний раз шла речь о д'Антоне, он издал вздох. Чтобы измерить всю глубину этого вздоха, необходимо сначала изложить подлинную историю чувств д'Антона — не к Барнаби, а к Саймону Струловичу, — а также подлинную историю чувств Саймона Струловича к д'Антону.

Росли они примерно в одно и то же время, примерно в одной и той же части страны, хотя д'Антон родился не в Англии, а в Гвинее у богатых, миссионерски настроенных родителей. Учитывая свойственную обоим любовь к прекрасному и талант к его приобретению, д'Антон со Струловичем могли бы встретиться гораздо раньше, если не в детстве — д'Антон, естественно, ходил в частную привилегированную школу, а Струлович, естественно, нет, — то в тех местах, где обычно собираются состоятельные эстеты: на благотворительных обедах и церемониях вручения наград, на открытиях выставок и в студиях художников, на частных аукционах и в гостиных коллекционеров. Однако ни тот, ни другой не жил на севере постоянно: Струлович большую

часть своего времени проводил в Лондоне, а д'Антон — в Западной Африке и на Ближнем Востоке. По той же причине они ни разу не встречались на торжественных приемах в Академии Золотого треугольника, которой Струлович время от времени ссужал картины, и где д'Антон, тоже время от времени, читал лекции. Учитывая сходство личных интересов и географического положения, логично предположить, что им доводилось слышать друг о друге. Однако впервые встретились они, только когда Струлович предложил принести часть своей коллекции в дар жителям Чешира в обмен на снятие кое-каких градостроительных ограничений на эксплуатацию некогда великолепного, а теперь пришедшего в упадок дома времен короля Якова I. Дом был расположен под Натсфордом и номинально находился в ведении общественной организации «Чеширское наследие», хотя по факту принадлежал местным властям, которые вынашивали планы превратить его в страусиную ферму и детский парк. Струловичу давно хотелось выразить почтение родителям, в особенности пока мать еще жива, основав художественный музей в их честь — Галерея британско-еврейского искусства имени Морриса и Лии Струлович, так он предлагал его

назвать, — а потому дом показался ему даром свыше. Идеальный размер, достаточная известность, да и место подходящее: матери всегда нравилось ходить по магазинам и пить чай в Натсфорде. Музей в Натсфорде! Чего еще желать? Однако д'Антон, часто консультировавший «Чеширское наследие» по вопросам, связанным с изобразительным искусством, нашел в этом проекте столько же недостатков, сколько достоинств находил Струлович. Там, где одному виделся промысел Божий, другому чудились происки дьявола. Д'Антон приводил обычные аргументы, которые приводят попечители местной собственности, когда не одобряют чего-либо, но не могут прямо назвать причину. Открытие музея нарушит постановления местных органов власти, создаст помехи движению транспорта, привлечет больше туристов, чем способен разместить Золотой треугольник, испортит пейзаж и повысит уровень шума, сотрет своеобразие дома — нельзя забывать, что дом относится ко времени правления Якова I и обладает собственной историей, которой коллекция Струловича не соответствует по самой своей природе. Наконец, будущий музей, с какой стороны ни взгляни, не проходит первую же проверку, а именно: не

отвечает культурным традициям региона.

Отстаивая свое дело на встрече «Чеширского наследия» и местного совета, Струлович заметил, что именно «особая природа» коллекции делает маловероятным большой наплыв посетителей, способный вызвать неприятности или неудобства. Что же касается шума, Струлович может заверить попечителей и членов совета, что произведения искусства, которые он намерен выставлять, это дети тишины и неспешного труда. Они молчаливы сами по себе и вызывают молчаливость в тех, кто их созерцает. Наконец, при всем уважении, непонятно, почему страусиная ферма более соответствует культурным традициям северного Чешира, чем галерея британско-еврейского искусства. Художник Эммануэль Леви родился в Манчестере всего в нескольких милях отсюда, Бернард Менинский вырос в Ливерпуле, в получасе езды от Натсфорда, Яков Крамер — в Лидсе, по другую сторону Пеннинских гор, и по крайней мере три скульптуры в коллекции Струловича созданы художниками, чьи предки родились и выросли в этом самом графстве. Поправьте, если он ошибается, но вряд ли то же можно сказать о страусах.

Если проект вызовет так мало интереса, что

не создаст ни малейших неудобств, возразил с трагическим видом д'Антон, какая от него польза местным жителям? Что же касается того обстоятельства, что несколько никому неизвестных художников, чьи работы будут выставлены в Галерее еврейского искусства имени Морриса и Лии Струлович, родилось неподалеку отсюда, этот довод можно привести в защиту любого начинания. Если бы, скажем, он, д'Антон, захотел построить Музей садизма и пыток северного Чешира, неужели его инициатива нашла бы поддержку только потому, что некоторые из представленных извращенцев происходят из Уилмслоу или Элдерли-Эдж?

Струлович напомнил членам совета, что выставленные в музее работы совершенно ничего не будут стоить местным налогоплательщикам, что это подарок, и, наконец, что между художественной галереей и пыточной камерой нет ничего общего — ни с культурной, ни с просветительской точки зрения. Д'Антон поинтересовался, чью именно культурную точку зрения выражает мистер Струлович. Если говорить начистоту, многие жители Золотого треугольника нашли бы гораздо больше занимательного и познавательного в таком заведении, какое в шутку привел в

качестве примера д'Антон, чем в том, которое с таким жаром и знанием дела предлагает создать заявитель. Где доказательства, что галерея еврейского искусства, британского или какого бы то ни было еще, большую часть которого, насколько он понимает, по духу можно скорее назвать городским и авангардным, вызовет хоть малейший интерес в сельской местности, известной своими замечательными природными красотами и долгой историей мирного посещения церкви? Д'Антон не против подобного искусства — он и сам немного авангардист. В принципе он даже не против галереи наподобие той, которую предлагает открыть мистер Струлович. Несомненно, в более подходящем в культурном отношении месте — Струлович решил, что имеется в виду Голдерс-Грин[46] или Негев[47], — она имела бы успех. Но зачем, во имя всего святого, нужна Галерея еврейского искусства имени Морриса и Лии Струлович здесь, в Чешире?!

Струловичу не понравилось, как д'Антон произнес имена его родителей. Он увидел, что внесенное им предложение подернулось тленом. Оно

---

[46] Примечания: 46
Голдерс-Грин — район Лондона, где преобладает еврейское население.

[47] Примечания: 47
Негев — пустыня на юге Израиля.

повисло в воздухе, словно чье-то недоброе присутствие. Пока д'Антон говорил, оно приобрело форму, превратилось в кровожадного призрака, грозящего нарушать покой Золотого треугольника днем и тревожить сон его обитателей ночью. Струлович ощущал прикосновение этого призрака, чувствовал вкус, улавливал запах. Он хотел бы отозвать свою заявку и даже самую память о ней, лишь бы избавить имена родителей от мерзкого душка враждебной чужеродности, с которым они будут теперь отождествляться. Однако Струлович был не в силах обратить вспять древнее обвинение в незаконном вторжении, умело навешенное на них д'Антоном. «Моррис и Лия Струлович» — даже он, их собственный сын, готов был бежать от столь зловещего заклятия. «Моррис и Лия Струлович» — встань в полнолуние на высшей точке Элдерли-Эдж, трижды произнеси эти имена вслух, и врата адовы распахнутся.

Как бывает всегда, когда прежде не знакомый, но живущий по соседству человек становится врагом, Струлович начал встречать д'Антона повсюду: в ресторанах Золотого треугольника, на благотворительных обедах, в гостях у состоятельных коллекционеров, на концерте в манчестерском Бриджуотер-холле, даже на при-

еме Общества акварелистов в Лондоне. «Может, он мне мерещится? — думал Струлович. — Может, я вызываю его, словно духа, силой нашей обоюдной ненависти?» Струлович старался не встречаться с ним глазами и был уверен, что и д'Антон избегает его взгляда.

«Что со мной происходит?» — удивлялся Струлович. Уж не превратился ли он в одного из тех евреев, которым повсюду видится унижение собственного еврейства? Боже упаси! Подобные люди унижают только сами себя. Разве д'Антон — единственный христианин, который ему неприятен? Я не позволю, сказал себе Струлович, чтобы меня задевала мышиная возня.

Но что, если мышь особенно злобная? Злобная унылая мышь-мизантроп? Что же, на ее возню Струлович тоже научится взирать с утонченным англосаксонским безразличием.

Однажды, прогуливаясь по Натсфорду после долгого обеда с приятелем-адвокатом, Струлович оказался на краю маленькой, но гневной демонстрации перед зданием ратуши. Повод к ней, насколько он понял из раздаваемой литературы, подала компания, которая заключила с местным советом договор на переработку мусора, а кроме того, производила детали для трубопровода,

соединяющего Тель-Авив с незаконными поселениями на Западном берегу.

— Какова цель данной демонстрации? — поинтересовался Струлович у одного из протестующих.

— Убедить совет расторгнуть договор.

— На строительство трубопровода в незаконных поселениях?

— На уборку и переработку мусора.

— В Натсфорде?

— Да.

— А как же наш мусор?

— Можно найти другую компанию. И потом, что значит небольшое неудобство в сравнении с…

— Вот именно, — согласился Струлович, хотя и не был уверен, чем неудобство, причиненное жителям Чешира, помешает строительству трубопровода на Западном берегу Иордана.

Протестующий пришел ему на помощь:

— Хотим создать побольше шума.

— В надежде вызвать резонанс?

— В конечном итоге — да.

«Когда бабочка взмахивает крыльями в Натсфорде…» — сказал про себя Струлович и тут заметил среди протестующих д'Антона. Он не успел ни подумать, ни вспомнить о собственном

обещании — просто поддался порыву.

— День добрый! — крикнул он, а когда д'Антон обернулся, помахал ему рукой.

Д'Антону думать тоже было некогда. Возможно, он также поклялся не замечать Струловича, хотя у него и не имелось причин считать себя потерпевшей стороной, или же, напротив, пообещал, что не станет питать неприязни к тому, кто или что такое этот Струлович. Однако д'Антон оказался застигнут врасплох, и ему не оставалось ничего другого, как машинально кивнуть в ответ.

— Шумное сборище для нашего тихого графства, — заметил Струлович.

Д'Антон отвел свои печальные глаза.

— По-вашему, — продолжил Струлович, — цель этих демонстрантов соответствует традициям региона?

Когда д'Антон повернулся спиной, он повторил этот вопрос тоном, который даже на его собственный слух представлял собой своего рода демонстрацию.

— С культурной точки зрения, я имею в виду. По-вашему, она отвечает интересам местных налогоплательщиков, отдает дань долгой истории церковности, не нарушает покой и тишину…

Но д'Антон уже исчез — затерялся среди прочих

протестующих.

Позже, сидя у себя в саду, наблюдая, как тени, точно демоны, пляшут над Элдерли-Эдж, и жалея, что у него нет жены, с которой можно посоветоваться, или дочери, которая не пропадает неизвестно где и не целуется с троглодитами, Струлович пытался понять, рад он или огорчен, что не опорожнил желудок от всей накопившейся желчи и не назвал д'Антона тем, кем его считал… нет, тем, кто он и есть на самом деле.

И рад, и огорчен, решил он наконец.

Огорчен, потому что желчи требуется выход, а д'Антон заслуживает того, чтобы сказать ему правду в лицо.

Рад, потому что обвинение, которое Струлович хотел бросить в спину уходящему д'Антону, неизменно возвращается и ранит бросившего его. Что это за общественная патология — как случилось, что обличить другого в низости само по себе стало низостью, — Струлович не знал. Однако дело обстояло именно так. Теперь безумен не тот, кто ненавидит, а тот, кто считает себя ненавидимым. Уж лучше бы, подумал Струлович, враги ненавидели нас в открытую, как раньше: обзывали неверными, нехристями, псами, стегали, пинали, унижали, притесняли и обкрадывали, но, по

крайней мере, не наносили последнего удара — не обвиняли нас же самих в паранойе. Только взгляните, как пес возвращается на блевотину жалости к себе и счастлив лишь тогда, когда считает, будто мы желаем ему погибели.

За что мы и желаем ему погибели.

Таковы, по крайней мере, были чувства Струловича к д'Антону на момент появления Шейлока, и перемены в них ничто не предвещало.

А что же д'Антон?

У него не было к Струловичу никаких претензий, если он вообще помнил, кто такой Струлович. Уж конечно д'Антон не испытывал к нему ненависти. Он ни к кому не испытывал ненависти, тем более на расовой почве. Доказательство тому — его французско-гвинейское происхождение, количество стран, которые он объездил, и языков, которыми владел, любовь к японскому и китайскому искусству, а также естественная духовная близость с гончарами, стеклодувами и миниатюристами всех стран и эпох. Струлович — теперь, когда обстоятельства столкнули их лицом к лицу, в памяти у д'Антона все-таки всплыл неприятный образ этого человека, — страдает манией преследования. Один из тех евреев, которые ощущают собственное еврей-

ство гораздо острее, чем окружающие. Д'Антону в голову бы не пришло, что Струлович еврей, если бы он так настойчиво это не выпячивал. В любом случае, вероисповедание — или как лучше выразиться? этническая принадлежность? — не имело никакого отношения к той неприязни, которую испытывал к нему д'Антон. Струлович не умеет достойно проигрывать, вот и все. Богатый, лишенный вкуса, навязчивый, агрессивный, раздражительный, он думает только о себе, жалеет себя и себе же вредит, выдумывает несуществующие оскорбления, а сам оскорбляет других, вечно обижен и считает, будто весь мир ему что-то должен. Подобные качества, по мнению д'Антона, нельзя назвать чем-то неотъемлемо и неизбежно присущим каждому еврею, если еврей сам не делает их частью себя.

Но поскольку в случае со Струловичем дело обстояло именно так, д'Антон, хотя и готов был ради Барнаби на все, тем не менее понимал, что будет нелегко убедить Струловича встретиться с ним и уж тем более расстаться с эскизом Соломона Джозефа Соломона к картине «Первый урок любви».

И все же д'Антон не сомневался в успехе. Если предложить за картину существенно больше, чем

заплатил за нее Струлович, разве сумеет еврей отказаться от легкой наживы?

XII

— Сразу скажу, что я не такой, как вы думаете, — объявил Грейтан Хаусом.

— В смысле, нацист?

— Я не такой.

— Зачем тогда вы об этом заговорили?

— Потому что знаю: вы так думаете.

— С чего вы взяли?

— Потому что все так думают.

— Почему же все так думают?

— Потому что я отдал нацистское приветствие.

— Люди очень поспешны с выводами… — вздохнул Струлович.

Прежде чем он успел что-либо добавить, вмешалась Беатрис.

— Небольшое уточнение, — сказала она и слегка похлопала Хаусома по руке, словно воображаемым веером. — Не «отдал», а «спародировал» нацистское приветствие.

— Точно, — поддакнул Хаусом. — И потом, я не знал, что оно нацистское.

— Как же тогда вы могли его спародировать? — терпеливо продолжил допрашивать Струлович.

Беатрис вновь сочла, что сумеет ответить на этот вопрос лучше поклонника.

— Папа, ты сам прекрасно знаешь, как работает ироническая отсылка.

Хаусом с гордостью посмотрел на Беатрис и с улыбкой кивнул. Вот за это он и влюбился в нее, когда впервые услышал, как она говорит.

Струлович тоже испытал прилив гордости. Бедная Кей! Жаль, что она не может оценить редкие вспышки остроумия в речи дочери, которая обычно строит из себя дурочку. Так которая же из двух Беатрис влюбилась в Хаусома — сообразительная или дурочка? К удивлению Струловича, футболист не вызвал у него особого отвращения. Можно даже предположить, что нашла в парне Беатрис. Нечто вроде хтонической невинности? Хаусом не походил на нациста. С другой стороны, никогда не знаешь, на что похож нацист, пока не становится слишком поздно. В любом случае было в нем нечто трогательное. Может, огромная мышечная масса, втиснутая в дорогой костюм, отчего тот казался дешевым? Хаусом сидел на краешке дивана, точно наряженный мальчик в гостях у дедушки с бабушкой. Галстук, завязанный большим, идеально треугольным узлом, явно ему мешал и впивался в горло. Вытатуи-

рованный на шее зеленый с алым дракон тоже впивался в горло. Удивительно, как ему удавалось дышать. Хотя Струловича тоже приучали повязывать галстук — «Это знак уважения», — повторял отец, никогда не надевавший кипы, — он бросил его носить, когда стал коллекционировать произведения искусства. Струлович хотел было откопать галстук ради сегодняшней встречи, но затем передумал, несмотря на всю торжественность случая. Этикет не предусматривает, что отец должен быть при галстуке во время беседы с невольным сторонником нацизма, который хочет переспать с его дочерью. При пистолете или кнуте — это да, но не при галстуке. Поэтому Струлович надел свой обычный черный костюм и застегнутую под горло белую рубашку с мягким воротничком. Надеюсь, он почувствует во мне знатока, подумал Струлович. Знатока искусства и человеческой природы. Надеюсь, он поймет, насколько я проницателен и как мало впечатляют меня пустые заверения. Да и татуировки, если уж на то пошло.

По какой-то причине или целому ряду причин, анализировать которые ему не хотелось, Струлович попросил Шейлока затаиться на время беседы. Желательно не выходить из комнаты и

не подпевать Джорджу Формби.

— Боитесь, как бы я не нагнал на него страху? — поинтересовался Шейлок.

— Нет, конечно.

Чего же тогда он боялся?

— Зовите, если понадоблюсь, — сказал Шейлок — в основном для того, чтобы Струлович не чувствовал себя неловко.

— Понадобитесь? Зачем?

— Вдруг он начнет буянить…

— Скорее уж Беатрис начнет буянить.

— Ну, тут я вам помочь не смогу.

Оба рассмеялись, хотя смеяться было нечему. Смех Струловича звучал горько и ядовито, смех Шейлока напоминал безжизненное рокотание в глубине горла.

Недостойные дочери предают недостойных отцов. Что тут смешного?

* * *

«Эй, Джессика! Да что ж ты, Джессика?»

Шейлок никогда не забудет своих последних слов, обращенных к дочери. Сделай все, как я велел. Запрись. Не высовывай нос на улицу.

Разве он просил так уж много?

Не надо было отлучаться. Можно проклинать

Джессику хоть целую вечность, но он сам виноват, что не остался дома. Какое-то несчастье грозило его покою — он это чуял.

«Что нового на Риальто?»

Почему он так нервничал? А если нервничал, зачем принял приглашение?

«Лучше б не ходить мне».

Так не ходи!

Шейлока влекло к опасности, точно кошку, и он пошел, чтобы есть пищу, которая ему претила, в обществе, которое ненавидел. Однако Шейлоку предстоял ужин еще одного рода. Признайся, признайся себе: ты пошел ради злорадного, каннибалистического удовольствия поужинать христианами — насытить древнюю вражду.

А пока тебя не было…

А пока его не было, христиане сами им поужинали.

Просто из драматического интереса: кто кого больше ненавидит?

Они друг друга стоили:

— Меня вы звали злобным псом…

— Тебя опять готов я так назвать…

— Собака я! Страшись моих клыков!

Поглощенные друг другом, влекомые магнетической силой взаимного отвращения, они были

не в силах расцепиться. Поводом послужили деньги: один дает взаймы под проценты, другой считает это ниже своего достоинства. Я, Шейлок, не даю и не беру, с тем чтоб платить или взымать проценты, но, чтоб помочь в нужде особой другу, нарушу правило[48]. Что называется, и рыбку съесть, и рук не замочить, подумал Шейлок, вспоминая, с какой неслыханной наглостью произнес Антонио это «но». Будто своей просьбой делал Шейлоку одолжение. О отче Авраам! Вот каковы все эти христиане[49].

Хотя полем боя для этой древней вражды служили деньги, война началась не с них.

Просто из исторического интереса: кто кого больше ненавидит? Вопрос из серии: «Что первично — яйцо или курица?» Заметьте слово «древняя». Гнусность, которую каждый видел в другом — гордое сознание своей исключительности, с одной стороны, гордая претензия на милосердие, с другой — предшествовала расцвету капитализма и ростовщичества. Какому же движению людей и идей она не предшествовала? Может, сеющим распри словам апостола

---

[48] Примечания: 48

У. Шекспир, «Венецианский купец». Акт I, сцена 3.

[49] Примечания: 49

У. Шекспир, «Венецианский купец». Акт I, сцена 3.

Павла? До Павла царил мир. С другой стороны, до Павла не существовало христиан, а значит, евреям некого было ненавидеть и некем быть ненавидимыми.

Что ж, если христиане видят в нем только гнусность, гнусность он им и покажет.

А они? В ответ они проявят к нему свою гнусную милость, подобную ядовитому дождю.

Значит ли это, что Шейлок иронически сослался на гнусность?

А христиане иронически сослались на милость?

Одно он знал наверняка: кража его дочери точно не была иронической отсылкой.

* * *

— Я люблю Беатрис, — объявил Хаусом, затягивая и тут же ослабляя галстук. Зеленый с алым дракон у него под воротником изогнулся всем телом.

— Ей шестнадцать.

— Какая разница! — возмутилась Беатрис.

Хаусом переводил взгляд с отца на дочь, желая угодить обоим.

– *Шестнадцат*ь! — с нажимом повторил Струлович.

— Папа, смени пластинку. Ты тянешь эту песню с тех пор, как я родилась. *«Ей тринадцать… ей четырнадцать… ей пятнадцать…»* Мне стукнет шестьдесят, а ты по-прежнему будешь повторять то же самое.

— К шестидесяти у тебя появится кое-какой жизненный опыт, а меня уже не будет рядом.

— Меня тоже, — добавил Хаусом.

Взгляд Беатрис ясно сказал, что говорить этого не следовало. Не стоит акцентировать внимание на разнице в возрасте, когда пытаешься выпросить девушку у родителя.

Пора поговорить с поклонником дочери с глазу на глаз, подумал Струлович. Как в старые добрые времена.

— Беатрис, ты нас обоих стесняешь, — сказал Струлович. — Почему бы тебе не оставить нас ненадолго? Обещаю: я не стану предлагать мистеру Хаусому денег в обмен на то, чтобы он уехал из страны.

Явное доказательство, что он обдумывал такую возможность.

— Никакие деньги не заставят меня бросить Беатрис, сэр, — ответил Хаусом.

Беатрис встала и улыбнулась ему. Хороший мальчик. Хороший ответ. Она видела: отец тоже

так думает.

— Пойду приготовлю чай, — сказала Беатрис, уверенная в Хаусоме. — Других гадостей тоже ему не предлагай, папа.

«Это каких же?» — подумал Струлович.

— Я хочу, чтобы моя дочь получила образование, — заговорил он, когда Беатрис вышла.

На самом деле он имел в виду: «Я хочу, чтобы моя дочь *начала* получать образование», но теперь было не время обсуждать его мнение об искусстве перформанса.

— Я хочу того же, — ответил Хаусом.

Струлович кивнул. Опять же, хороший ответ. Он понимал, почему Хаусом понравился Беатрис: покладистый, словарный запас невелик, но пользуется парень им с умом, улыбка добрая, несмотря на массивную фигуру. И даже сама эта фигура — по крайней мере среди мягких подушек дивана — внушала скорее чувство защищенности, чем угрозы. Что еще видит в нем Беатрис? Считает ли его сексуально привлекательным? Этот вопрос не входил в отцовскую компетенцию. Мужчина не должен размышлять на тему, что возбуждает его дочь, хотя сам он только о том и размышлял с тех пор, как почувствовал, что Беатрис, сколько бы лет ей ни было на тот момент, грозит опасность.

Сейчас ей шестнадцать. Она достаточно взрослая — не с юридической точки зрения, нет, но в глазах общества и в своих собственных, — чтобы решать за себя. Как-никак, Струлович довел ее до этого возраста без особых происшествий, осторожно обводя вокруг рифов и мелей. Возможно, втайне дочь ему благодарна. Возможно, она не уходит не только потому, что не хочет расстраивать свою бедную, ведущую растительное существование мать. Что, если Беатрис тоже любит его и жаждет ответной любви? Но раз уж она осталась и вздумала изображать из себя старомодную дочь, желающую получить папочкино благословение, он тоже будет изображать из себя старомодного отца.

— Чего еще вы для нее хотите? — спросил Струлович, пристально глядя в осоловелые глаза футболиста.

Хаусом пребывал в замешательстве и ждал каверзных вопросов. Папа хитер, предупредила Беатрис. Будь осторожен.

— В каком смысле? — спросил он. — Вы про детей?

— Боже упаси! Нет. Пока нет. Ей же всего шестнадцать, черт побери! Я так полагаю, вы хотите, чтобы она была счастлива?

— Ясное дело.

Достойное футболиста выражение. Ясное дело. По большому счету. По большому счету, ясное дело, я хочу, чтобы ваша дочь была счастлива.

— И вы хотите, чтобы ее родители тоже были счастливы?

Это дело было для Хаусома менее ясным, однако он ответил утвердительно:

— Ясное дело.

Струловичу даже показалось, будто футболист кивнул в сторону лестницы, ведущей на второй этаж — туда, где лежала бедная Кей, — словно знал, что с ней и где она, а значит, представлял, что это налагает на него еще большую ответственность за счастье Беатрис.

— В таком случае вы должны понимать: мы не слишком довольны тем, что вы несколько раз были женаты. По правде говоря, нас это беспокоит.

Хорошо, что Беатрис ушла. «Кого это — нас?» — наверняка подумала бы она.

— Я наделал немало глупостей, — признал Хаусом. — У меня тогда было больше денег, чем мозгов. Теперь я другой человек. Не мальчишка, а мужчина.

Струлович кивал, не слушая, и готовился задать единственно важный вопрос.

— Вы, разумеется, знаете, — неспешно начал он, — что семья у нас еврейская.

— Я люблю евреев, — ответил футболист и подвинулся на самый краешек дивана. Он так любил евреев, что готов был пасть к их ногам. — Вообще-то…

Хаусом умолк. Он собирался объявить, что уже был женат на еврейке, тем самым доказав свою любовь к еврейскому народу, однако вовремя передумал. Евреям нравится, когда их ценят, а не коллекционируют, объяснила поклоннику Беатрис, когда он попытался завоевать ее сердце сообщением, что она не первая еврейская девушка в его жизни.

— …вообще-то, — продолжил он, — я много читал на эту тему.

Струловичу вспомнилось нацистское приветствие, и он постарался не думать о том, какие материалы составляют домашнюю библиотеку Хаусома. «Протоколы сионских мудрецов»?[50] «Вечный жид»?[51] Подшивки газеты «Гардиан»?

---

[50] Примечания: 50

«Протоколы сионских мудрецов» — сфальсифицированный сборник текстов о всемирном заговоре евреев с целью достижения мирового господства.

[51] Примечания: 51

«Вечный жид» — пропагандистский фильм времен Третьего рейха, призванный возбудить в немецком народе ненависть к евреям.

— Про нас читать интересно, — кивнул Струлович.

Хаусом решил не останавливаться на достигнутом.

— Евреи — прекрасные люди.

— Есть среди нас и такие.

У Хаусома был такой вид, будто он сказал все, что хотел, представил неопровержимые доказательства собственной пригодности и теперь ждал только разрешения подхватить Беатрис на руки и отнести к себе в постель.

Однако Струлович еще не закончил.

— Раз вы так много о нас читали, вам, должно быть, известно, что мы очень болезненно реагируем, когда дети покидают родное гнездо. Я имею в виду — не просто оставляют родительский дом, а оставляют… клан.

Чудно́е слово — «клан», но не «религия» же. Струлович имел в виду не религию. Когда он женился на христианке, отец похоронил его не именем религии. Что же тогда? Вера? Нет, не вера. Сказать «племя» Струлович тоже не мог. Он слышал, как Шейлок негодовал по поводу племени. Культура? Слишком светское понятие. Если дело только в культуре, к чему поднимать столько шума? Поэтому «клан» так и остался ви-

сеть в воздухе — жалкая замена слова, которого он не смог подобрать.

Слишком поздно Струлович вспомнил про «завет».

— Я с уважением отношусь к этому, — ответил Хаусом. — Ясное дело, я не жду, что Беатрис перестанет быть еврейкой.

— Очень мило с вашей стороны, — язвительно ответил Струлович.

Оказывается, его потенциальный зять — человек неслыханного великодушия, принимающий евреек такими, как есть. «Как бы там ни было, молодой человек, — хотелось ответить Струловичу, — мне греет душу сознание того, что будущее еврейского народа в столь добрых руках». Но он сдержался. Зачем зря переводить на футболиста иронию? Парень и так проявляет себя с лучшей стороны, учитывая, в каких кругах он вращается.

— Если вы дадите согласие на наш брак, ваша дочь даже называться может по-прежнему.

— В смысле, Беатрис?

— Нет, я про фамилию.

— Опять же, очень мило с вашей стороны. Уверен, подобное предложение снимет камень у нее с души. Но я немного о другом.

— Извините. Я думал, вам именно это хотелось услышать.

— Хотелось. Конечно, хотелось. Однако я уже говорил: я не желал бы, чтобы моя дочь покинула клан. А значит, ее будущий муж тоже должен быть евреем.

Хаусом растерялся. Он жалобно раскрыл свои большие ладони. Я такой, как есть, говорил этот жест, и не могу стать тем, чем не являюсь.

Тогда Струлович объяснил ему, что может.

XIII

Д’Антон решил, что если хочет получить картину Соломона Джозефа Соломона для своего удрученного друга, то лучше всего написать ее владельцу официальное письмо.

Но едва он снял пиджак, сел за стол и с обычной методичностью принялся перекладывать с места на место бумаги и книги, как понял, насколько трудно выполнить эту задачу — нет, этот священный долг. Ящик с письменными принадлежностями отказывался открываться. В ручке высохли чернила. Д’Антону представилось, как Струлович отвечает на просьбу злорадным отказом — возможно, поджигает бумагу, на которой она написана, возможно, делает с ней что-нибудь похуже, — и душа его сникла.

— Все несколько сложнее, чем я ожидал, — сообщил он Барнаби, сознавая, что малость лукавит, поскольку даже не попытался своротить горы.

Барнаби бросил на него один из самых умоляющих взглядов в своей коллекции.

— Я всем сердцем хочу получить эту картину, д’Антон.

О, могущество пунктуации! Барнаби знал, что друг не в силах ему отказать, когда он произносит фразу типа: «Что-то там запятая д'Антон». Казалось, точка не наступит никогда, и имя — д'Антон — так и будет вечно таять у него на губах.

А д'Антон знал, что Барнаби знает, но ничего не мог с собой поделать.

— Я понимаю, Барнаби, — произнес он, в свою очередь медленно смакуя имя друга, — но, возможно, стоит съездить на аукцион еще раз и посмотреть другие произведения? Не может быть, что «Первый урок любви» — единственная картина на свете, которая тебе нравится.

— Ну, «Поющего дворецкого» тоже никто не отменял, — обиженно ответил Барнаби. — И вообще, дело не в том, что нравится мне, а в том, что понравится Плюри. Обнаженная Венера так на нее похожа! Как будто Плюри сама позировала для этой картины… А не могла она правда для нее позировать?

— Только если бы родилась на полтора века раньше.

Если Барнаби почудилась в голосе друга непривычная раздражительность, он не ошибся. Несмотря на всю свою любовь к молодому человеку — или же, напротив, по причине этой любви, —

д’Антон невольно подумал, что Барнаби мог бы пойти ему навстречу, согласиться посмотреть на другие произведения или чем-нибудь показать, что понимает, сколь многого просит, хотя д’Антон сам же предложил перекупить картину. Однако он не стал даже пытаться переубедить Барнаби. Его друг всем сердцем хочет получить эскиз — Барни вновь повторил ту же фразу: «Я всем сердцем хочу получить эту картину, д’Антон», — а то, что близко сердцу Барнаби, близко сердцу д’Антона. Кошелек, сам он и все находящиеся в его распоряжении средства были полностью к услугам молодого человека.

Поэтому, налив себе большой бокал бренди, д’Антон вновь сел за письменный стол, достал из ящика лист именной почтовой бумаги, которую изготовляли для него вручную на маленькой улочке, знакомой лишь немногим гостям Венеции, и написал мельчайшим почерком и тончайшим пером следующее:

«Уважаемый Саймон Струлович!

Прошу уделить мне немного вашего времени. Я нечасто выступаю в роли просителя, однако вынужден обратиться к вам с просьбой.

Пишу вам от лица своего друга — вернее, действую от лица друга, именем чьего разочарования

я к вам обращаюсь. Не так давно мы — он и я — посетили аукцион в Манчестере, на котором вы оказались достаточно проницательны, чтобы приобрести ранний эскиз к картине Соломона Джозефа Соломона «Первый урок любви» — великолепный набросок, по своему изяществу не уступающий самой картине. Преклоняюсь перед вашей удачливостью и вкусом. Преклоняюсь также перед вашей пунктуальностью. Увы, мы были не столь расторопны и к торгам опоздали. Что же, сами виноваты. Однако вот моя просьба: не согласитесь ли вы расстаться с эскизом? Цену я не называю: назначьте такую комиссию, какую сочтете нужным.

Повторюсь, что тем самым вы окажете услугу не мне, а моему молодому и впечатлительному другу, мечтающему преподнести эту картину в знак своей преданности женщине, которая, смею вас заверить, будет дорожить ею так, как только можно пожелать.

Разве можем мы остаться глухи, дорогой мой Струлович, когда взывает любовь?

Надеюсь на скорый ответ.

С уважением…»

И поставил подпись с широким росчерком, призванную свидетельствовать об открытости

сердца пишущего.

* * *

— Ну, как все прошло? — поинтересовался Шейлок.

Струловича удивило, что у него хватило дерзости спросить.

— По-моему, мы оба могли бы предвидеть, как все пройдет.

— Футболист остается при крайней плоти?

— Да. А я остаюсь без дочери.

— Вы подняли вопрос в ее присутствии?

— Нет, но Хаусом, разумеется, отправился прямиком к Беатрис и сообщил ей, чего я потребовал. «Мне, ясное дело, надо подумать», — так он сказал. Что означает: «Мне, ясное дело, надо поговорить с Беатрис». Которая, ясное дело, пришла в ужас.

— Она сама вам сказала?

— Я понял без слов.

— И? Уже ушла?

— Разве не слышите, как она молча кипит от гнева? Я прошел через развод и хорошо представляю себе звук решительных сборов. Не грохот. Грохот означает, что на самом деле женщина никуда не уходит. Если она разбрасывает вещи,

значит, дает вам шанс ее остановить. Бояться нужно тихого укладывания одежды. О силе гнева Беатрис я сужу по тому, что она ни разу не хлопнула дверцей шкафа и не сказала мне ни слова. Но я и так знаю, что это было бы за слово.

— Варвар?

— Если это слово само пришло вам в голову, странно, что вы не подумали о нем раньше.

— Или вы, раз думаете о нем теперь.

— Всего лишь пытаюсь представить, о чем думает Беатрис.

— Просто боитесь, что это правда.

— А разве это неправда?

— Мы воспринимаем все предметы так, как они на нас воздействуют[52]. Величайшая слабость евреев состоит в том, что мы постоянно думаем о себе самое худшее. Что, если мы не дотягиваем, что, если мы не свет для язычников, что, если в душе мы варвары? Наш вечный рефрен: «Что, если мы не те, кем себя провозглашаем?»

— А почему бы нам не задаваться этим вопросом? Не потому ли мы остаемся цивилизованными, что периодически спрашиваем себя, не варвары ли мы?

---

[52] Примечания: 52

У. Шекспир, «Гамлет, принц датский». Акт II, сцена 2. *Перевод В. Поплавского.*

— Смотря что вы понимаете под словом «периодически». Каждые пять тысяч лет? Ничего не имею против. Каждый раз, как еврей отстаивает свои права или действует в порядке самозащиты? Это уже называется по-другому.

— Самозащита — понятие неоднозначное.

— Нет ничего неоднозначного в том, чтобы защищать собственную дочь.

— Все это я знаю и сам.

— Тогда почему сомневаетесь?

— Если она сбежит, значит, я не сумел ее защитить.

— Тогда остановите ее. Объясните, что вами двигало.

— «Я веду себя, как варвар, потому что люблю тебя, Беатрис».

— Вы все еще смотрите глазами дочери, а должны бы набраться смелости и посмотреть собственными. У вас больше опыта, вы больше понимаете. Вы объясняли ей, что такое обряд обрезания? Что он означает? Что символизирует? Почему пройти обрезание — значит отвергнуть варварство? Почему это переход от дикарства к утонченности?

— Не так-то просто объяснить это ребенку.

— Ребенку любую серьезную вещь объяснить

непросто. Усадите дочь рядом и почитайте ей вслух.

— Беатрис не поклонница Маймонида[53].

— Необязательно читать ей Маймонида. Имеется в вашей домашней библиотеке Рот?

— Йозеф, Сесил, Генри, Филип? У меня целые стеллажи Ротов.

— Филипа вполне достаточно. Есть у вас книга, в которой каждый герой живет чужой жизнью?

— У него все книги об этом.

— Жаль, что Лия сейчас не с нами. Она бы поняла, про какую книгу я говорю. В ней Рот по полной программе отделывает противников обрезания. Обрезание, утверждает он или кто-то очень на него похожий, придумано затем, чтобы дискредитировать пастораль.

— Господи! По-вашему, мою дочь это убедит? Что, черт возьми, значит дискредитировать пастораль?

— Вы еще спрашиваете! Вы! Человек, который даже в собственный сад выходит так, словно там кишат змеи! У вас вообще есть резиновые сапоги? Друг мой, да вы сами — ходячая дискредитация пасторали.

---

[53] Примечания: 53

Моисей Маймонид, или Моше бен Маймон (1135–1204) — выдающийся еврейский богослов и философ.

— Потому что я обрезанный?

— Вас обрезали для того, чтобы в первые дни своей жизни, еще находясь в утробном обмороке, вы не приняли человеческое существование за идиллию.

— В таком случае, желаемый эффект достигнут. Я бы даже сказал, с избытком.

— Неудивительно, что вы так думаете. Вас затем и обрезали, чтобы вы так думали. Выражаясь словами нашего приятеля Рота, тяжкий груз человеческих ценностей опустился на вас рано — как и надлежит.

— Тех, кто считает ваши ценности бесчеловечными, этим не убедить.

— Тех, кто идеализирует человеческое существование, вообще невозможно убедить.

— Чем дальше, тем хуже.

— Послушайте, нож моэля милосерден, ибо спасает мальчика от причуд природы. Я имею в виду не только обезьян. Я имею в виду невежество, неверие в Бога, нежелание хранить верность какому-либо народу или идее — в особенности идее, что жизнь есть не только дар, но и ответственность. Мы не рождаемся свободными от клятв и обетов. Нож моэля символизирует наши обязательства.

— Другими словами, укрощает.

— Разве это так ужасно, если альтернатива — носиться по джунглям беззакония?

У Струловича не было ответа на этот вопрос. То, что он считал ужасным сегодня, казалось не столь ужасным завтра.

— Нельзя спастись от природы наполовину, — продолжил Шейлок. — Тут либо все, либо ничего. Либо человеческие ценности, либо обезьяны.

От абстрактных рассуждений о долге мысли Струловича обратились к живой дочери, в которой, в час ее рождения, ему приоткрылся смысл завета.

— Может, в случае с мальчиками это и так, — сказал он, как будто Шейлок одновременно и проиграл, и выиграл спор, — но что же делать с девочками? Ножом моэля дочерей не укрощают. По крайней мере, в цивилизованном мире. В цивилизованном мире тех, кто говорит об укрощении дочерей, забрасывают камнями.

— Именно поэтому, — произнес Шейлок, и голос его зазвенел стальным спокойствием, — дочери — олицетворение неверности.

Олицетворение неверности? А я-то себя считал экстремистом, подумал Струлович.

Шейлок угадал суть его сомнений.

— Не станете же вы, по крайней мере, отрицать, — сказал он уже намного спокойнее, — что Беатрис любит своего футболиста именно потому, что он человек «природный»? Если, конечно, вы верно его описали.

— Речь не о нем, а о ней. Любит ли его Беатрис? Кто знает. Но я почти уверен, что теперь ей захочется дать ему шанс. И мои слова, что жизнь не утробный обморок, ее не остановят.

— Она умная девушка.

— Ей шестнадцать! Она слишком молода, чтобы расстаться с иллюзией, будто жизнь есть идиллия.

— Значит, она слишком молода, чтобы стать еврейкой.

— Возможно, вам стоило подумать об этом, прежде чем радостно предлагать подобный план действий.

— Разве я предлагал какой-либо план действий?

— Да — жестами.

— Не думал, что вы настолько впечатлительны.

— Чтобы принять ваши слова всерьез?

— Слов я не произносил.

— Называйте, как хотите. Однако я просто обя-

зан спросить: что было у вас на уме?

— Хотел устроить каверзу.

— Так вот зачем вы здесь? Чтобы довести меня до беды?

— Довести? Нет. Как раз наоборот. Однако не все еще потеряно. По вашим же собственным словам, если вы слышите молчание дочери, значит, она еще не ушла.

— И как же вы предлагаете ее удержать? — Струлович рискнул заглянуть в полуприкрытые глаза Шейлока. — Запереть все двери?

Он отстраненно наблюдал, как его слова повисли в воздухе, как распахнулись ставни, закрывающие окна Шейлока, и внутрь повеяло отвратительным, сладковатым запахом коз и обезьян.

Каверзу можно устроить и вдвоем.

Однако своих дверей он запирать не стал.

XIV

Когда Струловичу нужно что-то обдумать, он обычно делает это в обществе Кей.

Если притвориться, будто они все еще могут обсуждать важные для них обоих вопросы, не придется обдумывать хотя бы одного: свою роль в ее упадке. Несмотря на заверения врача, Струлович знал, что сделал жизнь Кей невыносимой. Виною тому не только вечные ссоры с Беатрис. Виною тому он сам — кто он такой, что собой представляет, во что верит сегодня и не верит завтра, его воспаленное еврейство, которое то вспыхивает, то затухает, но всегда создает неудобства, словно полоумный жилец, нарушающий покой домашнего уклада.

Когда Струлович женился во второй раз, отец снова принял его в лоно народа Израиля. Однако Кей была еврейкой только на толщину ногтей — не то что Струлович, который оставался евреем, даже когда не считал себя таковым. Она преподавала религиоведение в светском колледже — уважение к чужим верованиям, уважение к себе, к своему телу, к окружению. Так уж по-

лучилось, что она такая, а они другие. Вот и все. Кей не вздрагивала, когда встречала на улице араба. Не вздрагивала она и при виде хасида. Ее не окружали со всех сторон враждебные последователи чужой веры и фанатичные приверженцы своей. Строго говоря, Кей вообще не исповедовала никакой веры. Струлович, или Струло, как она его называла, тоже — по крайней мере, так он утверждал. И, возможно, был прав. То, что он исповедовал, превосходило по силе любую веру, с которой доводилось сталкиваться Кей, и напоминало скорее безумие, лихорадку. Если бы ей пришлось читать об этом курс, она бы назвала его «иудеофрения».

Курс иудеофрении для студентов второго года обучения.

— Ошибаешься, — говорил Струлович. — Мне просто все равно.

Но даже его безразличие больше напоминало горячку. Он не ходил в синагогу, чтобы не раздражаться, однако все равно раздражался.

— Только посмотри на них! — негодовал Струлович, проезжая мимо синагоги субботним утром. — Пришли в своих чертовых ермолках! Каждую неделю — ходят и ходят! Неужели никогда не забывают? Неужели у них других забот

нет?

— Оставь их в покое, — отвечала Кей. — Ты не хочешь ходить в шул[54], они хотят. Это их выбор. Какое тебе дело?

— Совершенно никакого.

— Тогда почему ругаешься?

— Потому что они молятся.

— И что?

— Быть евреем не значит только молиться.

— Для тебя — нет. Для меня — нет. Для них — да.

— «Для меня — нет, для них — да»! — кричал в ответ Струлович. — Кей, это не по-еврейски! Так говорят христиане. Наш народ ценит А больше, чем Б, потому что А верно, а Б ложно. Вот что называется этикой. Вот чем мы славимся. «Для меня — нет, значит, для них тоже нет!»

— Струло, почему тебя так волнует, что по-еврейски, а что нет?

— Ни капельки не волнует. Плевать я хотел на всех евреев вместе взятых.

На следующий день он швырял в мусорную корзину выпуск «Гардиан» и кричал, что евреи на грани уничтожения, а виной тому — газета

---

[54] Примечания: 54
Синагога (*идиш*).

«Гардиан».

В ответ Кей удивлялась, почему он не уехал в Израиль и не вступил в Международную организацию по сотрудничеству в увековечивании и изучении Холокоста.

— Израиль? При чем тут Израиль?

— Я думала, ты сионист.

— Я? Сионист? Ты с ума сошла!

— Тогда зачем сжигать «Гардиан»?

— Я не сжигаю, а выбрасываю. Странно, что ты сказала «сжигать». Оговорка по Фрейду. Тебе вспомнились крематории. Вот что делает чтение «Гардиан».

— С чего бы мне вспоминать о крематориях, читая «Гардиан»?

— Эта газета ненавидит Израиль, а Израиль — единственное место, где можно будет спастись, когда снова заработают крематории.

— Так ты все-таки сионист!

— Только когда читаю «Гардиан».

А затем появилась Беатрис. Беатрис — дитя их зрелых лет, поздний дар Божий, по выражению самого Струловича. Как Исаак, что чудесным образом родился у смеющейся, неверящей Сары. Исаак — смех. Беатрис — радость.

— Господи, Струло! — восклицала Кей. — Ты

говоришь так, будто нам обоим перевалило за сотню. Давай не будем вмешивать сюда Бога.

Но все же согласилась назвать дочку Беатрис.

Беременность была непростая, а роды тяжелые. Струлович видел, что они отняли у жены все силы, которые она так до конца и не восстановила. Поэтому, решил он, ответственность за дочь ляжет на него: он должен проследить, чтобы Беатрис не сбилась с пути истинного и исполнила то высшее предназначение, которое он увидел в ее рождении.

Не еврейское воспитание — Боже упаси! — а еврейское сознание. По крайней мере в том, что касается еврейской свадьбы. Не столько еврейской свадьбы, сколько мужа из еврейской семьи. И даже это было преувеличением. Мужа не из нееврейской семьи — вот что имел в виду Струлович.

— Согласна: хорошо, если она найдет себе мальчика, который нам обоим понравится, — ответила Кей. — Что же до всего остального…

— Всего остального!.. Все остальное, Кей, и определяет меру нашей серьезности.

— Ты иудеофреник, — напомнила она.

Беатрис, когда подросла, стала ее подзадоривать.

— Скажи ему, мама! У мужика явно не все дома.

— Не называй его мужиком, дорогая. Он твой отец!

— Разве? Знаешь, что он мне вчера сказал? Что я способствую победе Гитлера!

— А что ты делала?

— Ничего. Целовалась. Даже не то чтобы целовалась — просто чмокнула кое-кого на прощание.

— Где?

— У нас на крыльце.

— Кого?

— Не знаю, как его зовут. Фен, кажется. Он китаец.

Ага, подумала Кей, Фен, а не Фишел.

Она спросила мужа в лоб, действительно ли он сказал дочери, что, встречаясь с китайским мальчиком, она способствует победе Гитлера. Если бы это оказалось правдой, Кей бы с ним развелась.

Струлович благоразумно пошел на попятный.

— Ты бы только видела, чем она занималась!

— Мне все равно, чем она занималась. Говорил ты ей, что она способствует победе Гитлера?

Струлович продолжил отступление.

— Не то чтобы победе… скорее…

— Скорее что?

— Кей, это было сгоряча. Ты понятия не имеешь, что она вытворяет, с кем общается.

— Готова поспорить, Фен не состоит в нацистском штурмовом отряде.

— Фен!..

Струлович не был столь уверен: ему вспомнился фильм «Мост через реку Квай»[55]. Однако он оставил свои сомнения при себе. Уж лучше Фен, чем Фриц.

Через несколько дней он притащил Беатрис домой за волосы, а вскоре после этого Кей сразил удар.

Струлович спрашивал себя, не должен ли он скорбеть по жене, как по умершей, но знал, что обязан любить ее, как живую. И не мог. Стоило только открыть сердце, как оно разбилось бы. Однако ритуалы семейной жизни — приветствия, проявления нежности и заботы, обмен новостями, — были ему по силам. У Струловича вошло в привычку рассказывать жене о том, что его занимает — тихо, без всякого оживления, как Шейлок Лии, стараясь, чтобы в голосе не проскальзывало ни намека на иудеофрению, тщательно отфиль-

---

[55] Примечания: 55

«Мост через реку Квай» — британско-американский художественный фильм 1957 года о японском лагере для военнопленных времен Второй мировой войны.

тровывая новости. Когда лицо Кей выражало спокойствие, она все еще была красива, все еще напоминала женщину, которую он любил, жену, называвшую его Струло, только истерзанную тем, что ее подкосило: нарушением мозгового кровообращения, страшной усталостью, а также им самим.

Сегодня все, что занимало Струловича, никак не способствовало душевному покою. Ему нужно было обдумать несколько вопросов, и ни одним из них он не смел поделиться с Кей — из страха (а вдруг? кто знает!), что она поймет. Поэтому он молча просидел с женой целый час, держа ее за руку, вытирая ей губы, целуя в щеку, чувствуя себя очень одиноким и стараясь представить, как же одиноко ей, замурованной там, куда он на пару с судьбой ее заточил.

Однако ему по-прежнему нужно было обдумать несколько вопросов, и он предпочел обдумывать их, сидя в кабинете и время от времени поглядывая на очаровательный эскиз Соломона Джозефа Соломона.

Первый и самый важный вопрос: что, если позволить Беатрис уйти, подождать, пока ее гнев утихнет, и только затем последовать за ней? Но последовать куда?

Второй: возможен ли компромисс в вопросе обрезания? Существует ли нечто наподобие полуобрезания — решение, одинаково приемлемое для еврея и нееврея?

Третий: насколько это варварский обычай — обрезание? Не половинчатое, а полное. Правы ли Рот, Шейлок и прочие еврейские мудрецы? Действительно ли обрезание — акт высшей человеческой ответственности, символ не отсталости, а просвещения?

Четвертый: если Шейлок здесь не для того, чтобы довести его до беды — хотя в любом случае довел, — тогда зачем он здесь?

Не в силах определиться, что делать с Беатрис, — что ни сделай, будет только хуже, — и желая выбросить Шейлока из головы, Струлович решил начать с обрезания. Шейлок сказал, что все началось именно с обрезания — «все» в данном случае означало древнюю вражду евреев с христианами, — но закончится ли «все» с обрезанием?

— Если мы поженимся и у нас родится мальчик, — сказала первая жена Струловича Офелия-Джейн на ранней стадии отношений, — не могу обещать, что позволю тебе его изувечить.

Отношения, впрочем, зашли уже достаточно

далеко, чтобы Струлович мог спросить:

— По-твоему, я изувечен?

— Имеешь в виду внешне?

— Я имею в виду то, что имеешь в виду ты. «Изувеченный» — твое слово. Но разве есть иное мерило увечности?

— Психика, например.

— Значит, я психически изувечен?

— Ну, как минимум травмирован. Иначе и быть не может.

— У меня по этому поводу несколько замечаний. Во-первых, «травмированный» и «изувеченный» не одно и то же. Могу я сделать вывод, что обвинение в увечности снято? Во-вторых, «иначе и быть не может» — не аргумент, а просто еще один способ сказать то же самое. Ты думаешь, что я травмирован, потому что обряд обрезания тебе противен. А может, обряд обрезания тебе противен, и поэтому ты подсознательно хочешь, чтобы я оказался травмирован?

Офелия-Джейн поднесла обе руки к голове и отвела волосы назад, словно ее мозгу требовалось больше места, чтобы осмыслить дробленую логику Струловича.

— Давай пока оставим эту тему, — сказала она наконец.

Однако вопрос этот постоянно висел между ними, словно страх болезни или тайная измена, и за неделю до свадьбы Офелия-Джейн снова его подняла.

— Все-таки не думаю, что готова согласиться.

— На свадьбу?

— На изувечение.

— Тогда давай договоримся производить на свет только девочек.

— И как же это осуществить?

— Никак. Но можно договориться не производить ни тех, ни других.

— Разве я многого прошу?

Многого она просит или нет? Струлович понятия не имел. Если бы он знал, как на него подействует рождение ребенка — с какой силой он ощутит смысл завета, причем по отношению к девочке, когда даже вопроса не стоит о том, чтобы подкрепить завет обрезанием, — он бы, наверное, решил, что Офелия-Джейн просит слишком многого. Однако Струлович был молод и не подозревал о тех чувствах, которые могут нахлынуть на отца. Со своим личным мнением он толком не разобрался, а Офелию-Джейн, если понадобится, всегда можно будет переубедить. Кроме того, собственный отец грозился его похо-

ронить, что не вызывало у Струловича теплых чувств к той вере, в которой ему предстояло быть похороненным. К черту все. Нет, она просит не слишком многого.

Однако бог его и ее неверия улыбнулся им с небес и устроил их разрыв, прежде чем они успели завести ребенка, которого можно было бы изувечить.

Несмотря на отсутствие сына, пенис как место нанесения ритуальных увечий пролег между ними.

— По поводу психической травмы, которую мы обсуждали… — начала Офелия-Джейн.

— Чьей травмы?

— Твоей.

— Что же насчет нее?

— Она напоминает о себе всякий раз, как ты рассказываешь очередной дурацкий анекдот про свое хозяйство.

— Разве травма может превратить в балагура? Если я правда такой заурядный, как ты считаешь, значит, меня изувечили недостаточно.

— Очень наивное представление о причине и следствии. Ты шутишь, чтобы скрыть свою боль. Не можешь признаться себе, что с тобой поступили по-зверски, поэтому пытаешься отделаться

шутками. Доказательство тому — твои анекдоты всегда фаллоцентричны.

Внезапно Струлович ощутил страшную усталость, — его подавляли сложные слова, оканчивающиеся на «центричный».

— Ты права, — ответил он.

Струлович не желал еще раз объяснять, что балагурство не в его природе. Сказать, что не только не выглядит, но и не чувствует себя изувеченным, он тоже не мог. Это прозвучало бы как пустое отрицание или полное отсутствие чувствительности, причем и то, и другое лишь подтвердило бы, насколько сильно он изувечен.

* * *

Вопрос к Шейлоку:

Насколько «шутлив» был ваш вексель? Что вы имели в виду, когда в качестве неустойки потребовали фунт прекраснейшего мяса, причем с правом самому выбрать часть тела и вырезать мясо там, где пожелаете? В чем состояла шутка? Иными словами, насколько вы говорили всерьез, а насколько играли роль дьявола, которого в вас видели христиане? И что вы имели в виду с точки зрения анатомии? Неужели вы собирались фривольно, если не сказать игриво, назначить

пенис Антонио в качестве той части тела, которую желаете отрезать? Был ли это тот, выражаясь гиперболически, фунт прекраснейшего мяса, на который вы первоначально положили глаз, прежде чем всякое желание шутить испарилось вместе с вашей дочерью?

Они сидели в «Тревизо» — одном из лучших ресторанов Золотого треугольника. «Красный гид Мишлен» присудил ему две звезды. Итальянская кухня — пусть Шейлок почувствует себя как дома — и самая объемистая винная карта во всей северной Англии.

— Я почти надеюсь, что Беатрис войдет в зал под руку со своим футболистом, — сказал Струлович, когда они только сели за столик и попросили сомелье принести самое кроваво-красное неббиоло, какое есть в наличии. — Глупо, знаю. Но вы меня поймете.

— Так вы решили не бросаться в погоню?

— Не хочу, чтобы Беатрис чувствовала себя загнанной. Если дать ей уйти по-хорошему, она скорее всего далеко не убежит. У Хаусома дом где-то поблизости. Самым естественным для них было бы отправиться туда, но там наверняка повсюду напоминания о бывших женах, а может, и сами бывшие жены. Насколько я знаю Беатрис,

ее это вряд ли порадует. Она пришла в негодование, когда обнаружила, что я до сих пор храню фотографии первой жены. Причем негодовала не только на меня, но и на мать — за то, что позволила мне их сохранить. Так что, думаю, Хаусом отвез Беатрис в какой-нибудь местный отель. Я изучил список предстоящих матчей: на выходных он играет за «Графство Стокпорт», а значит, далеко не уедет. Да и сама Беатрис не захочет, чтобы между ней и матерью оказалось слишком большое расстояние, даже если ей все равно, какое расстояние отделяет ее от меня. Пословица «запрешь плотней — найдешь верней» вам не помогла. Моим девизом будет: «Веревка длинней — надежда сильней».

— Правильно ли я понимаю, что вы намерены согласиться на их союз?

— Нет, не намерен. Союз слишком неравный. Не за тем я столько лет опекал Беатрис. И потом, теперь это вопрос принципа. Но нужно рассмотреть все имеющиеся варианты.

— Например, вариант не отправлять футболиста под нож?

— Необязательно. Хотя пока я не вижу способа осуществить задуманное.

Струлович подождал, не озвучит ли Шейлок

какую-нибудь идею, но идей у Шейлока не оказалось.

Струлович налил ему еще вина.

В этой дружеской, хотя и неопределенной обстановке, после того как Шейлок отослал обратно лингвини с крабом-пауком, вернее, только краба-паука, объявив, что лингвини хороши, разговор как-то сам собой перешел на первоначальные намерения Шейлока в отношении Антонио. Что было его исходной целью: интимные места купца или же сердце?

— Почему вы столь уверены, что я сам представлял, каковы мои намерения? — спросил Шейлок.

— Не хотите ли вы сказать, будто импровизировали? Сочиняли на ходу?

— Это не я сочинял, а меня сочиняли. Когда еврей говорит, за плечами у него бремя истории. Я вижу, как тщательно вы взвешиваете каждое слово. Боитесь произвести определенное впечатление и все равно его производите. Когда вы входите в комнату, перед вами шествует Моисей.

— У меня диплом одного из старейших и лучших университетов Англии, — напомнил Струлович. — Когда я вхожу в комнату, передо мной шествуют епископы и лорды-канцлеры.

— У вас в воображении — возможно. Но не у христиан. Вы не в силах избежать того, что они видят и чего ожидают. Если еврей заключает сделку, то непременно грабительскую. Если еврей шутит, то непременно жестоко. Зачем же бороться с историей, если история все равно победит?

— Чтобы ее опровергнуть.

— В другой раз вы непременно побалуете меня описаниями своих побед. Пока же, раз вы сами затронули этот вопрос, позвольте мне продолжить о своей. Если ты видишь меня таким, фактически сказал я Антонио, я тебя не разочарую. Он пришел, обремененный грузом непримиримой ненависти, прося об услуге, но не имея достаточного смирения, чтобы попросить учтиво. Более того, Антонио ясно дал понять, что это он делает мне одолжение, за которое я должен быть благодарен. Разве мог я устоять и не ответить ему тем же — воплотить в себе каждый его страх, оправдать каждый раздутый слух, каждое абсурдное суеверие? Если он пользуется языком метафоры и молвы, я тоже буду пользоваться языком метафоры и молвы. Заметьте, как мало он слышит из моих речей. Я совершенно не стою внимания, поэтому Антонио не дает себе труда разобраться,

что я заявляю в шутку, а что всерьез, не понимает, подобострастно я веду себя или вызывающе, даже не думает оскорбиться моей непристойностью. А ведь это непристойно — рассуждать о том, чтобы отрезать ту часть его тела, какую я пожелаю, словно речь о половом сношении, способном доставить мне плотское удовольствие. Я до того не стою внимания — какое там «Да разве у жида нет глаз?», скорее уж «Да разве жид вообще здесь?», — что Антонио едва задумывается о последствиях предложенной сделки. Он настолько самонадеян как купец и настолько высокомерен как христианин, что не боится просрочить вексель и не замечает того самого еврея, с которым подписывает договор. Меня не существует, моих слов не существует, моих угроз и пожеланий не существует. Существует лишь кредит — лишь то, что он хочет и, как ему кажется, может получить без всяких последствий. Почему же вас удивляет мое неумолимое требование неустойки?

Струлович хотел ответить, но Шейлок повелительно поднял руку. Даже официант, который подошел было спросить, всем ли довольны джентльмены, в страхе шагнул назад.

— Это риторический вопрос, — продолжил Шейлок. — Я не считаю, будто вы удивлены.

Удивляться тут нечему. Антонио просрочил — дальнейшее неизбежно: мой вексель! Против векселя ни слова! Я стал тем, во что он меня превратил — векселем. Мой вексель! Ничего не стану слушать. Вы не видели во мне ничего, кроме векселя, а потому и отвечать будете перед векселем и только перед векселем. Не ждите жалости. Вы никогда не верили, что я способен на это чувство. Так как же смеете требовать его от меня? Я стал воплощением вашего презрения. Готовьтесь испытать на себе последствия — не того, кто есть я, а того, кто есть вы сами. Я говорю как вексель и только как вексель. Вы нас учите гнусности, — я ее исполню[56].

Струловичу хотелось бы заметить, что ответ Шейлока, при всей своей обстоятельности, не может считаться ответом на заданный вопрос, вернее, два вопроса: были ли интимные места Антонио первоначальным предметом договора, и если да, то как Шейлоку удалось преодолеть расстояние — реальное и моральное — от гениталий до сердца.

Шейлок заметил неудовольствие собеседника.

— Вы хотите получить объяснение тому, что

---

[56] Примечания: 56

У. Шекспир, «Венецианский купец». Акт III, сцена 1.

объяснить невозможно. Знал ли я, чего на самом деле хочу? Составил ли четкий план действий на тот случай, если Антонио просрочит вексель, и отвечал ли этот план некому сокровенному желанию? (Предоставлю вам самому размышлять, зачем мне могли понадобиться интимные места Антонио.) Или же я угрожал подвергнуть его — забавы ради или просто потому, что гены не оставили мне иного выбора, — тому самому наказанию, которому, согласно суевериям, еврей должен подвергнуть христианина? Исполнял ли я свои тайные желания или их собственные? Когда вы сможете ответить на эти вопросы по отношению к себе, милости прошу обращаться ко мне. Одно, впрочем, вам скажу: если первое требование неустойки и содержало в себе непристойную шутку, то во втором шутки не было и в помине. В этом состояла моя ошибка. Я выставил Антонио в благородном свете, когда дал понять, что имел виды, пусть даже мимолетные — пусть даже это не «мои» виды в полном смысле слова, — на его сердце. Я едва не наделил своего врага тем трагическим амплуа, которого он всегда искал, хотя и не был достоин столь высокой роли. Если бы я покусился на половые органы Антонио, то указал бы этому человеку с большими претен-

зиями и маленькими заслугами на место. Я же возвысил его над фарсом.

Струлович предпочел оставить пока эту тему. На них начали поглядывать. Их столик стоял в стороне от других, но Шейлок — впервые за то недолгое время, что они были знакомы, — говорил громко и несдержанно. Бывало, посетители ресторана «Тревизо» теряли самообладание, бывало, даже вставали из-за стола и уходили, не попрощавшись со своими гостями. Но редко кто из них восклицал: «Вы нас учите гнусности — я ее исполню».

И потом, ужин есть ужин, а они даже толком не изучили винную карту.

На самом деле Струлович не пожелал продолжать разговор потому, что мысли его переключились на другое. Он боялся, что допустил ошибку — во-первых, когда не помешал дочери уйти из дома, а во-вторых, когда не бросился за ней следом. На тот момент казалось, что лучше отпустить Беатрис без скандала: проявить себя перед дочерью человеком благоразумным, чтобы впоследствии было легче ее вернуть. Больше так не казалось. Где-то она теперь?..

В глубине души Струлович все еще надеялся, что Беатрис вот-вот войдет в ресторан под руку

с Хаусомом — красивая, пронзительно смеющаяся маленькая девочка, которая изображает из себя женщину. Напряженно обшаривая глазами самые темные углы зала, он заметил д'Антона в компании нескольких молодых людей. Струлович отвернулся. Ему всегда неприятно было видеть д'Антона, тем более теперь, когда он с ума сходил от беспокойства. Так что же заставляло Струловича постоянно поглядывать в ту сторону? Отчасти — то напряженное внимание, с каким рассматривал его д'Антон. Хотя было и еще нечто. Почему-то вид приятелей д'Антона смущал Струловича. И только когда они встали и собрались уходить — довольно поспешно, как ему показалось, словно это он был тому причиной, — Струлович понял, что его смущает: присутствие Грейтана Хаусома.

Первым порывом Струловича было вскочить из-за стола, размахивая кулаками. Вторым — остаться на месте. Если подумать, знак-то хороший: Хаусом один, и вид у него далеко не торжествующий. Разумеется, это может означать лишь одно: они расстались. Беатрис образумилась, дала Хаусому отставку и вернулась домой. Струлович подавил в себе третий порыв — подойти к футболисту и расхохотаться ему в лицо.

Зачем, если Беатрис и так его бросила?

Струловичу представилось, как дочь не ложится спать, ожидая его возвращения.

«Прости, папа…»

Однако дома ее не оказалось.

Так где же она, черт возьми?

XV

Д’Антон решил сразу не отсылать письмо жиду. Отсрочка не сулила ничего, кроме спасения души. Не в природе д’Антона было просить об одолжении — по счастью, кошелек избавлял его от этой необходимости, — а при мысли о том, чтобы попросить об одолжении не кого-нибудь, а Струловича, к горлу подкатывала тошнота. Быть может, если подождать, обстоятельства изменятся. Быть может, Барнаби подыщет для Плюрабель другой подарок. А вдруг повезет, и Струлович выставит эскиз Соломона Джозефа Соломона на продажу? Хотя жид и называет себя коллекционером, говорят, иногда он все-таки продает картины, если ситуация на рынке благоприятная. Причины сомневаться в правдивости этих слухов у д’Антона не было. Если бы ему сообщили, что стены в доме Струловича завешаны диаграммами, показывающими малейшее повышение и понижение цен на живопись в каждом городе мира, он бы нисколько не удивился.

Д’Антон был не из тех, кто попусту медлит; но он и не бросался вперед очертя голову. Мелан-

холическое душевное устройство находит некое удовольствие в неторопливом течении времени, а поскольку, что бы вы ни делали, ожидать награды в виде подлинного счастья бессмысленно, то незачем и спешить.

Затем Грейтан обратился к д'Антону со странной просьбой. Впрочем, нет, не с просьбой — она еще не приняла форму просьбы. Скорее это была жалоба, возмущенное изумление, словно на него напали, но зримых побоев не оставили.

— Я попал в переделку, — объявил футболист.

Д'Антон часто жалел, что не создан для брака и у него нет детей. Из меня получился бы прекрасный отец, думал он, представляя, как играет в саду с детьми, причем, исключительно с мальчиками. Ничего сексуального — мальчики казались ему печальнее девочек, вот и все. Мальчики лелеют в душе затаенную боль. Д'Антон не мог бы дать определенное название этой боли — ни чужой, ни собственной. В детстве он наблюдал, как девочки читают, рисуют, играют в куклы — ну хорошо, в солдатиков тоже, — и видел в них способность к увлеченности и самозабвению, для него самого недоступную. Он всегда чутко прислушивался к себе, был не просто раним, а внимателен к своим ранам, как будто единственными игрушками ему

служили полученные обиды.

С возрастом мало что изменилось: унижения по-прежнему оставались излюбленными игрушками д'Антона, однако теперь он страдал за других — людей обоих полов, но в особенности мужчин. Зрелище их отважной ранимости, их уязвленности, «что о себе молчит»[57] (ибо мужчины должны быть сильными, а не слабыми), поглощало всю его эмоциональную энергию. Если бы д'Антон мог сделать мир лучше для каждого страдающего мужчины, который попадался ему на пути, он бы так и поступил. Однако облагодетельствовать можно только ограниченное число людей, а потому д'Антон делал каждого своего друга другом вдвойне, расточая на него больше заботы, чем тот надеялся получить. Неважно, что некоторые им пользовались — именно таким он помогал охотнее всего, ведь они бы, разумеется, не стали предъявлять столь непомерных требований, если бы не испытывали особо острую психологическую необходимость в его помощи.

В этом смысле разница между Грейтаном и

---

[57] Примечания: 57

Отсылка к последней строке стихотворения лорда Альфреда Дугласа «Две любви». Стихотворение было использовано во время суда над Оскаром Уайльдом в качестве доказательства того, что они с Дугласом состояли в гомосексуальной связи.

Барнаби — хотя в случае первого чувство долга незаметно перетекало в любовь, а в случае второго любовь столь же незаметно перетекала в чувство долга — казалась не так уж велика. Барнаби больше повезло с семьей, он получил сносное образование, но не был одарен ничем, кроме мальчишеской привлекательности, которая в глазах д'Антона служила внешним проявлением внутренней, душевной прелести — прелести, нуждающейся в помощи в нашем несправедливом мире, где невинные падают жертвой чужой беспринципности. Грейтан познал такую жестокость, какой Барнаби никогда бы не вынес, не получил образования и не мог считаться привлекательным даже с натяжкой, зато обладал достаточными навыками, чтобы зарабатывать на жизнь физическим трудом. С виду Грейтан не принадлежал к тем, кто мог бы вызвать сочувствие д'Антона. Но копни чуть глубже, и становился виден одинокий, несчастный мальчик. Отсюда все эти глупые выходки вроде нацистского приветствия. Крик о помощи д'Антон не спутал бы ни с чем. А когда к этому крику о помощи присоединился сначала один дорогой друг, потом второй, ему не осталось ничего иного, как считать Грейтана одним из достойных. Не-

даром он объявил Плюрабель, а затем и доказал на деле, отыскав для футболиста девочку-еврейку, что ради Грейтана готов на все. Фразу эту он произнес машинально — ничего конкретного она не значила. Однако когда Грейтан понурил свою обычно мужественно поднятую голову и объявил, что попал в переделку, д'Антон понял: представляется случай пожертвовать собой — своим временем, силами, влиянием, а возможно, и кошельком.

— Прежде всего, тебе нужно немного развеяться, — объявил д'Антон. — Вечером я ужинаю с Барнаби и парочкой его школьных приятелей, которые приехали посмотреть какой-то матч.

— Наверняка не «Графство Стокпорт» — «Колвин-Бей», — уныло заметил Грейтан. Даже собственная карьера потеряла для него всякое очарование.

— По-моему, речь шла о регби, — ответил д'Антон. — В любом случае будет весело.

Слово «весело» настолько выбивалось из его лексикона, что и Грейтан удивился — все равно что услышал богохульство из уст служителя церкви.

— Боюсь, я не в том настроении, — сказал он.

— Брось! Почему бы тебе не поужинать с нами?

А потом мы с тобой поговорим с глазу на глаз.

Грейтан колебался. Беатрис наверняка ждет, что эту ночь он проведет вместе с ней…

— Если ты занят… — начал д'Антон.

— Нет-нет, освобожусь, — перебил Грейтан, хотя понятия не имел, как это сделать.

По странному стечению обстоятельств в тот вечер д'Антону предстояло разобраться сразу с двумя переделками, поэтому он предложил Барнаби — а во вторую попал именно он — встретиться в ресторане немного раньше назначенного срока.

— Рассказывай, — произнес он.

Барнаби молча указал на свою левую руку.

Д'Антон непонимающе пожал плечами.

— Не замечаешь, что чего-то недостает? — спросил Барнаби.

Д'Антон пригляделся.

— По-моему, все пальцы на месте.

— Взгляни на безымянный.

— Тоже на месте.

— Палец-то на месте, а вот кольцо — нет.

— О… Неужели то самое кольцо?..

— Да. То самое, которое купила мне Плюри.

— Ты что, его потерял?

Барнаби состроил гримаску, при виде которой у д'Антона всякий раз сжималось сердце — гри-

маску маленького мальчика, которому не к кому бежать за утешением.

— Не то чтобы потерял…

— Отдал шлюхе?

— Разумеется, нет! Не только не отдал, но даже не забыл у шлюхи.

Д'Антон видел, что Барнаби ждет похвалы за столь высоконравственное поведение.

— В любом случае не мое дело, кому ты его отдал.

— Почему ты так боишься, что я его отдал?

— Боюсь? Кто тебе сказал, что я боюсь?

— В смысле, боишься за Плюри, — поправился Барнаби, спрашивая себя, не переоценил ли ревнивость д'Антона.

Д'Антон заглянул в томные глаза друга.

— А у меня есть повод за нее бояться?

— Нет, конечно же, нет. Кольцо я потерял — вот и все.

— Тогда будем надеяться, что Плюри тебе поверит.

— А почему бы ей не поверить?

— Потому что твои слова похожи на оправдание.

— Я на самом деле его потерял!

— Это оправдание беспечности.

— Черт, д'Антон, оставь меня в покое! Ты ничем не лучше ее.

Огромная волна усталости накрыла д'Антона. Как же ему надоели влюбленные вместе с их безвкусным обычаем обмениваться кольцами! В молодости он и сам следовал тому же обычаю — всегда с нерешительностью, всегда из убеждения, что от него этого ждут. Д'Антон понимал, что символизирует обмен кольцами и потеря кольца, однако напыщенные клятвы в вечной верности, которые мужчина и женщина произносят всякий раз, как надевают друг другу на палец золотой ободок, а затем приземленные обвинения в измене, если один из них его потерял, будто весь обряд — всего лишь испытание на верность, заранее обреченное на провал, иными словами, западня, ловушка, такая же безжалостная, как силок, проволочная петля для ловли кролика — все это удручало, подавляло и вызывало разочарование. Плюрабель — женщина во всех отношениях исключительная, и тем не менее Барнаби уверен: едва она узнает, что он потерял символ ее любви, как превратится в склочную бабу.

— Если хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, зачем было обращаться ко мне за помощью?

— Извини, д'Антон. Зря я это сказал. Прости,

пожалуйста.

Д'Антон понял: его юный друг репетирует покаянную речь перед Плюрабель. Чувствуя себя неловко и в то же время польщенно, он слегка отодвинулся от края воображаемой кровати.

— Чем же я могу тебе помочь?

— Не мог бы ты сказать, будто на время взял у меня кольцо?

— Я? Взял у тебя кольцо? Зачем?

— Ну, не знаю… Чтобы подарить шлюхе?

Повисло молчание, которое нарушил только приход сомелье.

— Извини, — снова сказал Барнаби.

Д'Антон немного помедлил, прежде чем прервать собственное безмолвие.

— Знаешь? Я скажу, будто забрал у тебя кольцо, чтобы закрепить камень.

— На нем не было камня — просто золотой ободок.

Совершенное, ничем не запятнанное кольцо в знак совершенной, ничем не запятнанной любви, вспомнил д'Антон. Что же, он сам положил этому начало. Помогать людям встретиться — его призвание. Находить для других счастье, которого не может найти для себя.

— В таком случае я скажу, будто забрал кольцо

на полировку. У меня свой полировщик.

— Разве оно нуждалось в полировке?

— Это не имеет значения.

— А Плюри заметит разницу?

— Не будет никакой разницы, потому что нет никакого кольца.

Барнаби озадаченно поглядел на д'Антона.

— Ты же его потерял, помнишь?

— А, ну да. А дальше?

— Я скажу, что сам потерял его. По пути к полировщику.

— Чертовски хорошая идея! Но лучше скажи, что потерял на обратном пути.

— Какая разница?

— Пускай Плюри знает, что кольцо все-таки отполировали.

— Как пожелаешь.

Барнаби взял руки д'Антона в свои.

— Я твой вечный должник.

Глаза д'Антона затуманились.

— Не говори так, пожалуйста, — произнес он.

— Хорошо, но могу я хотя бы пообещать, что больше никогда не попрошу тебя ни об одной услуге?

— Мне бы не хотелось, чтобы ты давал такое обещание.

— Понимаю, — ответил Барнаби, хотя не понял ничего.

Его настроение настолько улучшилось, что в нем едва можно было узнать того взъерошенного человека, который вошел в ресторан пятнадцать минут назад.

Барнаби уселся поудобнее и улыбнулся своему благодетелю.

— А как там дела с картиной? — спросил он.

— Имей терпение.

— Неужели ты до сих пор не уговорил старого жмота ее продать? В чем загвоздка? Он требует больше денег?

— Для начала давай разберемся с кольцом.

Барнаби уселся еще удобнее. Да, жизнь — штука трудная, но нет таких трудностей, которые не решили бы за него другие.

Еще один, подумал д'Антон при виде Грейтана Хаусома. Футболист настолько же олицетворял собой человека, который попал в переделку, насколько Барнаби олицетворял того, кто только что из переделки выбрался.

XVI

Отмотаем немного назад.

В такую ночь, подумала Беатрис, я не должна бы сидеть одна, глядя на луну.

По крайней мере, в одном Струлович оказался прав: его дочь убежала недалеко. Покинув дом вместе со своим ухажером и чемоданами, она прямиком направилась в «Старую колокольню», чтобы искать защиты у Плюри. Эта светлая мысль пришла в голову Грейтану. Они познакомились у Плюри, обменивались взглядами у Плюри, занимались филосемитской любовью у Плюри, а теперь у Плюри найдут убежище. Сама Плюри отлучилась из дома на несколько дней, чтобы подкорректировать результат одной пластической операции с помощью другой пластической операции. Однако она позвонила Беатрис и выразила свой восторг и готовность помочь, позвонила Грейтану и пожурила его за безрассудство, зато похвалила за выбор, наконец позвонила своему домоправителю и велела приготовить для парочки самую очаровательную комнату. Не ту, которую отвела для их нужд

раньше, тоже вполне очаровательную, а более респектабельную и романтичную. «Супружескую» — вот что она имела в виду.

Когда Грейтан с Беатрис приехали в «Старую колокольню», подушки в их новом будуаре были уже взбиты, в вазе красовался целый свадебный букет, на одном прикроватном столике стояла бутылка шампанского «Перье-Жуэ Бель Эпок», а на другом — коробка миндальных пирожных из кондитерской «Ладюре». Если бы Грейтан с Беатрис поискали получше, то обнаружили бы также д'Антона, который по-новому развешивал картины в гостиной — Плюри нравилось возвращаться домой после его преобразований, — и настолько увлекся, что даже не заметил приезда влюбленных. Грейтан был этому рад, поскольку хотел слегка его подготовить. Он считал д'Антона кем-то вроде опекуна и ждал от него сочувствия, но необязательно одобрения. Именно д'Антон ввел Беатрис в их маленький кружок, и ему вряд ли понравится, что Грейтан ее присвоил. Молодой футболист мог заранее представить, что скажет д'Антон: «Я не затем привел сюда эту девушку, чтобы ты с ней сбежал. Не все в мире существует для твоего удовольствия, Грейтан». Выговор, продиктованный любовью, но все-таки

выговор. «Больше, пожалуйста, так не делай, — попросил д'Антон после случая с нацистским приветствием, потом указал на голову Грейтана и добавил: — В будущем не забывай пускать ее в ход».

Менеджер часто повторял ему то же самое.

Возможно, д'Антон уже обо всем догадался — разумеется, он постоянно погружен в мрачное самосозерцание, однако домочадцы Плюрабель так явно шептались в коридорах и так часто исчезали неизвестно куда, что даже он мог что-нибудь заметить. Возможно, Плюри, охваченная эротическим сопереживанием Грейтану с Беатрис, сама ему рассказала. Если же д'Антон до сих пор ничего не знает, то лучше всего пока оставить его в неведении — не сообщать, что именно сделал Грейтан, а главное, не называть имени той, с которой он это сделал. Гораздо благоразумнее использовать общие фразы: он, она, отец, обрезание и тому подобное. Д'Антон — человек с большим житейским опытом: он наверняка в курсе, все ли еврейские отцы требуют от своих нееврейских зятьев пройти обрезание, имеют ли они такое юридическое и моральное право, существуют ли особые представители закона, способные зятя принудить, и очень ли будет больно.

Перенеся Беатрис через порог, Грейтан опустил ее на постель, хотя и не так церемонно, как, на взгляд девушки, требовал случай, и торопливо объявил, что ему нужно смотаться вниз.

— Ты куда? — крикнула Беатрис, но его уже и след простыл. — Главное, не забудь потом смотаться обратно, — пробормотала она про себя.

Когда Грейтан отыскал д'Антона, тот стоял на стремянке и вешал очередную картину.

— Прямо, как по-твоему? — спросил он, не оглядываясь.

Грейтан был слишком поглощен собственными заботами, чтобы разбираться, прямо висит картина или нет, поэтому пошел по пути наименьшего сопротивления и ответил «да».

— Итак… — произнес д'Антон, спускаясь со стремянки.

По раскрасневшемуся лицу Грейтана было ясно, что дело неотложное. Тогда-то футболист и выплеснул на д'Антона отредактированную версию того, что накопилось у него на сердце, а в ответ д'Антон пригласил его поужинать с ним в ресторане…

Промотаем немного вперед.

«Сам не знаю, возвращаюсь я или ухожу», — думал Грейтан, взбегая по ступенькам.

Беатрис стояла у окна, словно ждала, что он вернется этим путем.

— Извини, — сказал Грейтан, — мне нужно ненадолго отлучиться.

Она уставилась на него, не веря своим ушам.

— Сначала смотаться вниз, теперь отлучиться… Можно подумать, ты не хочешь побыть со мной.

Беатрис не страдала излишней сентиментальностью и не ждала, что это будет их первая брачная ночь. Они давно спали друг с другом, и сегодняшний вечер не был освящен ничем, кроме того, что уже совершалось неоднократно. Просто еще одна ночь, которую надо как-то скоротать. Но сматываться вниз и ненадолго отлучаться, прежде чем она успела хотя бы распаковать чемодан… Такого ни Беатрис, ни любая другая женщина на ее месте ожидать никак не могла.

— Конечно, хочу, — с обиженным видом ответил Грейтан. Как могла она в нем усомниться?!

— Грейтан!

— Что?

— Мы только приехали!

— Я ненадолго.

— Где ты был?

— Не могу рассказать.

— Куда собираешься?

— Не могу рассказать.

— Не слишком хорошее начало, особенно после того, что мне пришлось пережить.

Грейтан подвел ее к постели и обнял — так, чтобы иметь возможность поглядывать на часы.

— Для меня день тоже выдался нелегкий, — напомнил он.

— Ты сильнее и опытнее. И потом, он тебе не отец. Пожалуйста, не оставляй меня одну. Только не сегодня.

Но Грейтан не мог не пойти на встречу с д'Антоном. Он нуждался в совете — не потом, не завтра, а сейчас, до того как они с Беатрис проведут свою первую ночь в качестве беглецов. Во время тягостной поездки от дома Струловича к дому Плюри Грейтану пришло в голову, что Беатрис, как ни возмущена и непреклонна она сегодня, утром может передумать — в том числе насчет него самого. Отец есть отец, даже если он чудовище. А еврейский отец, насколько слышал Грейтан, и подавно. Ничто нельзя принимать на веру. Слова Беатрис необязательно совпадают с ее мыслями — открытие из области женской психологии, которым Грейтан очень гордился. Нужно непременно поговорить с д'Антоном — как ради Беатрис, так и ради себя самого. Иначе

легко можно совершить неверный шаг. Сказать что-нибудь, о чем потом пожалеешь. Сделать нечто, чего делать не следует.

— Не спрашивай, где я был или куда собираюсь. Просто доверься мне. Когда ты обо всем узнаешь, то согласишься, что я поступил правильно. Все ради нас с тобой.

— Ты идешь за священником? Не надо.

— Клянусь, что нет!

Грейтан приложил руку к сердцу, и этот жест немного напомнил Беатрис пресловутое нацистское приветствие.

— Ты ведь не успел завести себе другую?

— Другую?! Мы же здесь не больше часа!

«А много ли на это надо?» — подумалось Беатрис.

— Хотя бы вернешься скоро?

— Обещаю, что скоро, — ответил Грейтан, вновь поднося руку к груди.

— Давай без таких жестов, — попросила Беатрис. — Просто возвращайся трезвым.

— Как сапожник!

— Пьян как сапожник, а трезв как стеклышко. Но неважно. Просто скажи, что вернешься. Ты ведь не затем привез меня сюда, чтобы бросить?

— Придет же такое в голову!

Грейтан поцеловал ее с неистовой страстью. Когда он увидел Беатрис впервые, она, с подачи Плюри, была одета мальчишкой. «Мой маленький еврейчик», — называла ее Плюри. Сейчас Беатрис выглядела почти как тогда: скорее капризная, чем сердитая, скорее девочка, чем женщина, скорее дитя Востока, чем Запада, полукровка, ни то, ни другое, полная загадка для Грейтана. Мог ли он в чем-нибудь ей отказать?

Промотаем немного назад.

И вот, в такую ночь, Беатрис осталась одна размышлять о том, что наделала.

Разве могла она не уронить слезу?

Беатрис вытерла влажный глаз и задумалась, не за тем ли смылся Грейтан, чтобы убить отца.

Огорчит ли ее это?

А что, если в драке отец убьет Грейтана?

Огорчит ли ее *это?*

Вопросы, вопросы…

Беатрис принялась открывать бутылку шампанского, хотя и не слишком любила шампанское, и вздрогнула, когда хлопнула пробка. А вдруг это пистолет Грейтана? Или отца? До ее дома не больше полутора миль. В такие ночи, в тишине Золотого треугольника, звуки разносятся далеко.

Когда я прикончу эту бутылку, подумала Беат-

рис, я и не вспомню, кто такой Грейтан Хаусом. Зато отца не забуду никогда. Он превратил мою жизнь в страдание.

Беатрис попыталась вспомнить, было ли такое время, когда отец не преследовал ее, не выдергивал с вечеринок, не бил парней, с которыми она встречалась, не вытирал тыльной стороной ладони помаду у нее с лица, не тащил по улице за волосы, хватаясь за сердце, словно угрожая инфарктом: «Полюбуйся, что ты со мной делаешь! Ты меня убиваешь». Хотя на самом деле это он ее убивал — не так ли?

Разве могла она не рассмеяться?

Однажды отец выбросил ее мобильник в озеро. Пока телефон тонул, позвонивший парень продолжал говорить. Было это года два назад. Может, он до сих пор расписывает под водой, как мечтает поскорее увидеться? До сих пор выражает булькающие восторги по поводу ее груди?

Однажды отец растоптал ее ноутбук. Однажды пинком высадил дверь ванной и саданул кулаком по зеркалу. Однажды угрожал подослать наемного убийцу к мальчику, с которым она встречалась. Ей было тогда всего четырнадцать. Мальчику — на год больше. Как-то раз запрыгнул на капот автомобиля, в котором она ехала со

взрослым парнем. «Не останавливайся, — велела Беатрис. — У него никакого чувства равновесия: рано или поздно свалится». В другой раз ворвался в гостиничный номер, изображая, что в кармане у него пистолет.

Какая драма сравнится с этой? И разве способен Грейтан настолько завладеть ее воображением, насколько завладел отец?

Чтобы доказать, как сильно ее любит — он ведь этого добивался? Хотел помешать ей влюбиться в кого-нибудь другого?

Разве могла она не уронить еще одну слезу?

Самое дикое — дичее просто некуда, — что у него получилось: Беатрис действительно не могла влюбиться ни в кого другого.

Она попыталась переключить свои слезы на мать, но думать могла только об отце.

Почему он за ней не приехал?

Он всегда за ней приезжал, так почему же не в этот раз? Единственный раз, когда это имеет значение. Если имеет.

Неужели махнул на нее рукой? Беатрис слышала о том, как дед похоронил отца накануне свадьбы с христианкой. Может, он тоже ее похоронил?

«Или ты выйдешь за человека с таким же чле-

ном, как у меня, или я тебя похороню!»

Разве могла она не рассмеяться?

Хоть смейся, хоть плачь, такой ультиматум может означать только одно: он ее любит.

Пока Беатрис доедала пятое миндальное пирожное от «Ладюре», в голову ей пришел неожиданный вопрос: если Грейтан согласится на обрезание, предпочтет ли отец, чтобы операция прошла успешно или чтобы ее жених истек кровью и умер?

Промотаем немного вперед.

Д'Антон не мог поверить своим ушам.

— Так и сказал?

— Да.

— Ты уверен?

— Уверен.

— Этими самыми словами?

— Я за ним не записывал.

— «Пройди обрезание и получишь мою дочь»?

— «Пройди обрезание, тогда и поговорим. До тех пор мне с тобой обсуждать нечего».

— Он точно не изъяснялся метафорами? Не шла у вас речь об обрезании сердца?

— А это еще что такое?

— В старые добрые времена, когда Англия была христианской страной, молодой человек твоего

положения посещал бы воскресную школу, где ему рассказали бы об апостоле Павле. Мы сможем стать лучшими христианами, утверждал апостол Павел, если будем понимать обрезание метафорически — следовать не букве закона, а духу. Обрезание должно быть в сердце. Понимаешь?

Грейтан Хаусом сначала кивнул, потом помотал головой. Что бы ни имел в виду д'Антон, к данному случаю это явно не относилось.

— Зачем ему, чтобы я стал лучшим христианином? Я для него и так чересчур христианин. Он хочет, чтобы я стал лучшим евреем… ну, хотя бы просто евреем.

— Я о том и говорю. Евреем в сердце. Ты уверен, что речь шла не об этом?

— Он не предлагал обрезать мне сердце. На такое я бы точно не согласился.

— Так ты на что-то согласился?

— Я сказал, что мне нужно поговорить с Беатрис.

— Беатрис?!

Хаусом хлопнул себя по лбу. Ну и дурак же я! Стоит провести две минуты с д'Антоном, и выпаливаешь все как на духу. У него мелькнула мысль придумать какую-нибудь другую Беатрис, но он тут же понял, что от этого будет только хуже.

— Да, Беатрис.

— Плюрина Беатрис?

А, чего уж там, решил Хаусом.

— Вообще-то теперь она моя Беатрис. Пойми, д'Антон, я люблю ее.

— С каких это пор?

— С тех пор как впервые увидел.

— Хаусом, она еще ребенок!

— Отец Беатрис говорит то же самое.

— А тебе не кажется, что он где-то прав? Ты в два раза ее старше!

— Так, по-твоему, я должен позволить себя кастрировать?

— По-моему, ты должен оставить девушку в покое.

— Слишком поздно. Беатрис убежала со мной из дома. Сейчас она у Плюри — ждет моего возвращения.

— Плюри в курсе?

— Да. Поздравила нас по телефону и оставила бутылку шампанского.

— Сам знаешь: я готов отдать тебе практически все что угодно, но шампанского я бы тебе за это не предложил. Ты хоть подумал, что станешь делать, если явится отец?

— Я за тем и пришел, чтобы спросить. Что мне

делать?

— Вернуть ему дочь.

— Я же сказал: не могу. Мы любим друг друга.

— А что думает сама Беатрис? Хочет она, чтобы ты согласился на требования ее папаши?

— Беатрис думает, что он последний маньяк. Она ненавидит отца вместе с его еврейскими деньгами и еврейским фондом.

— Фонд? Что еще за фонд?

— Откуда мне знать? Фонд Как-Бишь-Его-Там. Фонд Будь-Я-Проклят-Если-Знаю. Фонд Струловича, наверное.

Д'Антон залпом осушил бокал. Глаза у него вылезли из орбит.

— Ты сказал «Струловича»?

— Вроде бы так это произносится. Я не обязан помнить фамилию человека только потому, что сбежал с его дочерью.

Д'Антон пустил мысли на самотек. Беатрис Струлович… Беатрис Струлович… Знал ли он? Знал ли фамилию девушки, когда впервые порекомендовал ее Плюри в качестве невинного развлечения для Хаусома, чья слабость к еврейкам так забавляла их обоих?

Каковы бы ни были намерения д'Антона, в них явно не входило, что Грейтан влюбится в Беатрис

и будет вынужден либо лишиться крайней плоти, либо выкрасть девушку.

Если, конечно… если… в общем, если целью д'Антона не было разбить сердце ее отцу — вне зависимости от того, кто еще при этом пострадает.

Д'Антон быстро пролистал в памяти всю тошнотворную историю своих отношений с коллекционером, меценатом, выскочкой, денежным мешком, вымогателем и кровопийцей Саймоном Струловичем. Какое же место занимает в ней сегодняшний день? Триумф это или фиаско?

Не в силах решить, служит ли выходка Грейтана Хаусома достижению его цели или идет с ней вразрез, не в силах даже вспомнить, в чем, собственно, эта цель состоит, д'Антон заказал еще бренди.

Когда Грейтан наконец вернулся, Беатрис лежала на полу — раздетая догола и мертвая.

Грейтан издал ужасающий вопль, а Беатрис пришлось открыть глаза и объяснить, что она изображает собой пространство, которое он оставил, когда бросил ее одну.

— Разве можно изображать пространство? — удивился Грейтан.

— В такую ночь, как эта, как мог ты меня оставить?

Однако Грейтан был слишком заворожен видом ее грудей, чтобы ответить.

Совершенно глух к искусству, подумала Беатрис, неохотно ему покоряясь.

XVII

Какова вероятность того, что в двух разных точках Золотого треугольника, расположенных не более чем в миле друг от друга, могли одновременно вестись две беседы о взглядах апостола Павла на обрезание сердца?

Этого странного совпадения хватило бы, чтобы гость с другой планеты удостоверился: он в христианской стране.

Возможно, было бы преувеличением назвать беседой то, что происходило между д'Антоном и его сентиментальным подопечным. Между Струловичем и Шейлоком — тоже. Однако последняя беседа не могла считаться настоящей не из-за неравенства в понимании. Просто ни хозяин, ни гость не высказывали того, о чем на самом деле думали, хотя каждый знал, что другой думает о том же. Своего рода безмолвная беседа. Или, по крайней мере, беседа, истинным предметом которой служило вовсе не то, о чем шла речь.

Вернувшись из «Тревизо» и не обнаружив дома Беатрис, Струлович впал в уныние, которому мог бы позавидовать сам д'Антон. Что бы ни означа-

ло присутствие Хаусома в ресторане, оно явно означало не то, на что надеялся Струлович. Он рухнул в кресло, держа в руке бутылку виски, и указал Шейлоку на шкафчик с напитками.

— Напейтесь со мной, пожалуйста.

— Не могу, — ответил Шейлок. — Я не бывал пьян тогда, а потому не способен опьянеть сейчас. Таков один из недостатков моего положения.

— Ну, просто налейте себе чего-нибудь и посидите со мной.

Шейлок повиновался.

Больше часа они сидели молча, глядя на вытянутые ноги друг друга. Наконец Шейлок спросил, можно ли задать вопрос.

— Уже задали.

— Другой вопрос — по поводу брит-милы…

— Брит-милы!

— Ритуального обрезания.

— Черт побери, да знаю я, что такое брит-мила. Но я думал, этот термин применим только к обрезанию восьмидневных младенцев.

— А футболисту, простите, сколько?

Струлович мрачно рассмеялся. Ему будет не хватать Шейлока. Хорошо иметь друга с черной душой. Современные евреи слишком осторожны. «Если нас оскорбляют — разве мы не должны

мстить?»[58] Нет, не должны. Мы утремся, еще и спасибо скажем. Если, конечно, дело происходит не в Иудее и Самарии, где нас обвиняют в нацизме. Так что же лучше: быть трусом или нацистом? Риальто — не Самария, но этот островок тоже взрастил еврея, способного за себя постоять. Если бы под страхом смерти Шейлоку пришлось выбирать, быть ли евреем в Самарии, на Риальто или в Золотом треугольнике, он бы точно не выбрал Золотой треугольник.

Внезапно Струлович вспомнил, что Шейлок ни разу не встречался с Грейтаном.

— Вы что, еще и ясновидящий в придачу ко всему остальному?

— Немного — общую картину получить могу. Кроме того, я сужу по вашим рассказам. А еще мне удалось мельком взглянуть на него, когда он выходил из ресторана. *Cavernicolo*[59].

Струлович помотал головой из стороны в сторону, словно пытался избавиться от всякого воспоминания о том яростном обмене взглядами. Надо было все-таки подойти и взять футболиста за грудки…

---

[58] Примечания: 58
У. Шекспир, «Венецианский купец». Акт III, сцена 1.

[59] Примечания: 59
Пещерный человек (*итал.*).

— Понятно, — сказал он. — Так что насчет брит-милы?

— Вас мучают сомнения?

— Если вы ясновидящий, то сами должны знать.

— Я вижу, что вы вините во всем меня. Что ж, это ваше право. Но вы в любой момент можете изменить ситуацию, изменив свое решение. Сжальтесь над футболистом, если душа больше не лежит к мести. Дайте Беатрис свое отцовское благословение.

— Ей шестнадцать!

— Вы все время это повторяете, но для своих шестнадцати Беатрис очень зрелая девушка.

— В том-то и беда.

— Сколько, по-вашему, было Джессике?

— Как-то не задумывался…

— Вот именно. Дело не в возрасте.

— А в чем?

— Ответьте на один вопрос: если вы все-таки вынудите футболиста согласиться на ваши кровавые условия…

— Подождите минутку. «Кровавые условия»? Слышать такое от вас…

— Нет, это вы подождите минутку. Я гость в вашем доме, поэтому прошу простить меня за

грубость. Вы не можете знать, насколько далеко я готов был зайти в исполнении своих кровавых замыслов. Вы вправе предполагать, но знать вы не можете…

— А сами-то вы знаете?

— Давайте не будем сейчас обо мне. Вернемся к моему вопросу. Если вы все-таки вынудите футболиста согласиться на ваши условия, какими бы вы их ни считали, то будете довольны? Или вы ждете, я бы даже сказал «надеетесь», что он откажется и оставит вашу дочь в покое?

— И то, и другое. Я хочу, чтобы Хаусом оставил мою дочь в покое, и хочу, чтобы он прошел обрезание — при условии…

— При каком условии? Почему же вы замолчали?

— При условии, что нож будет в моей руке.

— По-моему, вы сами себя обманываете. Вы на такое не способны.

— Теперь моя очередь спросить: откуда вам известно, на что я способен, а на что нет? Вы знаете меня всего пару дней.

— А сколько, по-вашему, мне требуется? Я знаю вас как облупленного, мистер Струлович.

— Вы хоть понимаете, до чего обидно это слышать?

— Не хотел вас обидеть. Но позвольте задать еще один вопрос: сколько раз вы присутствовали на брит-миле?

— Вы же ясновидящий, вот сами и ответьте.

— Ни одного. Во-первых, у вас нет сына. Во-вторых, вы презираете религиозные обряды. Однако на самом деле вы ни разу не присутствовали на брит-миле потому, что боитесь упасть в обморок. Многие мужчины теряют сознание — отцы, дяди, братья. Жутко смотреть, как заносят нож над восьмидневным ребенком.

— Хаусом малость постарше.

— Что сделает процедуру еще более кровавой. Кроме того, с чего вы решили, будто вам захочется смотреть на его половой член, не говоря уже о том, чтобы отрезать от него кусок? Сколько нееврейских членов вы видели? Сколько держали в руках?

— Я не обязан отвечать на подобные вопросы.

— Вы уверены, что готовы прикасаться к члену Хаусома?

— Я надену перчатки…

— Взять его в руки, рассечь кожу, увидеть кровь, услышать крик футболиста? Все это просто бравада — сами знаете. Да вы дали бы стрекача!

Струлович поднимает руку.

— Минуточку, — говорит он, — минуточку.

Шейлок поднимает обе руки, как будто сознает, что зашел, пожалуй, слишком далеко.

— Когда это мы успели перейти от метафоры к буквализму? — спрашивает Струлович. — Началось с того, что я попросил гоя, который спит с моей дочерью, доказать серьезность своих намерений. И вот уже я, под вашим водительством, отрезаю ему член.

— Добро пожаловать в мой мир.

— Выходит, фунт мяса тоже поначалу был всего лишь метафорой?

Шейлок брезгливо опускает глаза.

— Опять вы за свое…

— Я перестал бы задавать этот вопрос, если бы вы на него ответили.

— Тогда сформулируйте тоньше. Любая сделка между евреем и христианином метафорична: это единственный способ не обратиться к убийству. Но если вы спрашиваете, говорил ли я в шутку, то да, отчасти.

— «Да» и «отчасти» не совсем одно и то же.

— Нет, но существуют разные степени серьезности.

— Тогда позвольте спросить: надеялись ли вы, что Антонио просрочит вексель, и вы сможете

причинить ему вред?

— В момент самой шутки, пожалуй, нет.

— Когда же?

— Намерение развивается вместе с сюжетом.

— А когда это намерение стало твердым?

— Я бы мог ответить: когда у меня отняли Джессику. Когда было украдено кольцо Лии. Когда друзья купца возомнили, будто в состоянии избавить его от уплаты долга. Когда они решили, что мной можно манипулировать. Когда меня загнали в угол. Когда не осталось иного выбора…

— Какой же из ответов верен?

— Все. И ни один. Я до сих пор не знаю, насколько твердо было мое намерение. История остановилась… Чего не произошло, того не произошло. Все остальное — область предположений, а не философии или психологии. И уж точно не теологии.

— До того как она остановилась, было же у вас — не могло не быть — некое намерение?

— Намерение, говорите? А что такое намерение? Смог бы Авраам убить Исаака, каковы бы ни были его первоначальные намерения? Мой мир не менее далек от Ветхого Завета, чем ваш, однако к этой истории, как легко можете себе представить, я питаю особый интерес.

— Весь мир питает к ней особый интерес.

— Раньше питал. Сейчас — вряд ли.

— Допустим. Но вопрос остается открытым: убил бы Авраам своего сына или нет?

— Смог бы в конечном итоге Авраам совершить убийство? Тоже некорректный вопрос.

— Некорректный или не имеющий ответа?

— И то, и другое. Мы не знаем, что случилось бы «в конечном итоге».

— Каков же корректный вопрос?

— Есть ли в прошлых поступках Авраама нечто такое, что заставляет заподозрить в нем детоубийцу?

— Ответ будет «нет»?

— Именно. Нет. В моем случае тоже. Есть ли в моей личной истории — истории того человека, каким меня знали, а не представителя жутковатой и ненавистной расы — нечто такое, что свидетельствует о моей кровожадности? Если бы христиане заподозрили во мне подобные склонности, они бы, разумеется, держались от меня подальше. Однако они жаловались, что это я избегаю их общества. Спросите себя, пошли бы вы на сделку с ростовщиком, который вырежет вам сердце, если вы не выполните условий? Посмели бы обобрать такого дельца? Украсть его

драгоценности? Похитить дочь? Плевать в него на улице? Человек, пользующийся славой головореза, вызывает большее уважение — и больший страх, — чем вызывал я. Пока я не настоял на уплате неустойки, христиане не сомневались, что пригоршня дукатов усмирит мой гнев. Их самоуверенность и презрение служат порукой, что за мной не водилось репутации человека опасного.

— Вас называли собакой. Сравнивали с волком.

— С волками сравнивали евреев, а не меня конкретно. Евреев. Хотя на самом деле сами обвинители едва ли верили собственным обвинениям. Христиане и мусульмане никогда не считали нас достаточно воинственными. Мы для них кастрированные мужчины, которые менструируют, как женщины. Вот почему им так трудно простить нас, когда мы отвечаем ударом на удар. Проиграть евреям — значит проиграть полумужчинам.

— Но согласитесь: в Аврааме есть что-то от воина.

— Что-то — да. Однако по меркам того времени он просто котенок.

— Если в Аврааме так мало воинственного, чем

объяснить его готовность убить Исаака?

— Я бы не назвал это готовностью. Определенное обстоятельство толкнуло Авраама на путь, ведущий к убийству. Но способен ли он на убийство? Мы не знаем. Он и сам не знал. История замерла и останется замершей до конца времен.

— Для Авраама таким обстоятельством стал Бог. А для вас?

— Он же.

Однако Струлович не мог оставить разговор. Если подворачивается случай, им нужно воспользоваться. Еще никогда он не видел своего гостя в такой непринужденной позе: Шейлок сидел в полумраке, вытянув ноги, и слушал тишину всякий раз, как Струлович позволял повиснуть молчанию. Его легко будет застать врасплох.

— Уже не в первый раз вы отделываетесь от меня фразой, что история остановилась. Да, история остановилась, но вы-то нет. Вы здесь. У вас было достаточно времени, чтобы подумать.

— Подумать! Да я только и делаю, что думаю. Но мысль не действие, даже не знание о действии. У меня нет ответа на ваш вопрос. Я не знаю, вырезал бы у Антонио сердце или нет. Не знаю даже — вы ведь спрашивали и об этом, — каким образом целью моей мести стало сердце.

— Ага! Вы назвали свой план местью.

— Назвал и готов повторить. Мне было за что отомстить: меня лишили дочери, богатства, доброго имени…

— Иными словами, вам хотелось утолить свою жажду крови?

— Вы говорите прямо как они.

— Тогда укажите, в чем я не прав. Вы жалеете, что вам помешали?

— Помешали? — Глаза Шейлока сузились, а поза больше не казалась непринужденной. — Я жалею, хотя толку от этого мало, что мне не дали даже попытаться.

— Вырезать у Антонио сердце?

— Проверить, способен я на это или нет.

— А вам хотелось бы оказаться способным?

— Это не совсем одно и то же. Если бы я вырезал у Антонио сердце, христиане не колеблясь вырезали бы мое.

Струлович пропустил последнее замечание мимо ушей. Его не интересовали последствия — он сам прекрасно знал, что делают с евреями христиане. Его занимало другое: что может сделать с христианином еврей.

— Позвольте, — заговорил Струлович, — я злоупотреблю вашей добротой и спрошу еще раз:

вырезали бы вы ему сердце или нет?

— А я еще раз отвечу: не знаю. Кровожадность свойственна мне ничуть не больше, чем вам. Я говорил, что во время брит-милы некоторые падают в обморок. Так вот, я один из них. Терял сознание дважды. Выбор был невелик: лишиться чувств или закричать громче самого младенца. Я сделан из такого же мягкого теста, как вы, и одинаково не выношу вид и запах крови — даже одну мысль о ней. Но поймите: моя собственная кровь кипела от ярости. В жилах у меня бурлила ненависть к этому высокомерному, вечно страдающему, вечно скорбящему ханже. В мире нет места нам обоим, думал я. Он, несомненно, тоже. Мы взаимно исключали друг друга. Антонио не мог позволить мне вести дела по-моему, а я не мог позволить ему. Я стоял за порядок, он — за хаос. Оба мы в силу необходимости действовали согласно обязательствам. Роль человека делового налагает обязательства. Роль мужа, отца, возлюбленного — тоже. Я связывал себя подлинными обязательствами — давал и брал. Взаимовыгодный обмен, совершаемый с согласия обеих сторон и не оставляющий места сомнению или недопониманию. Антонио связывал себя обязательствами ложными: не желал брать и только

давал. Он отказывался получать финансовую или эмоциональную выгоду, а потому всегда оставался жертвенным, разочарованным и одиноким, налагая скрытое, но постоянное обязательство на тех, кому давал. Я не мог существовать в его неупорядоченной, подверженной случаю вселенной. А он не мог существовать в таком рациональном мире, как мой. То, что Антонио считал моим закостенелым следованием закону, перечеркивало его, а эмоциональный шантаж самого Антонио перечеркивал меня. Вот почему один из нас всегда должен убить другого. Да, вполне вероятно — даже более чем вероятно, — что, объятый яростью, я нашел бы силы — нашел наслаждение, даже обязанность, словно исполняя веление разгневанного божества, а также требуя давно причитающейся расплаты за долгие века унижений, верша возмездие за нанесенную обиду, иронически претворяя в действительность все их необоснованные страхи — да, я бы, скорее всего, нашел в себе необходимые силы — назовите их героизмом, назовите блаженством, назовите, если хотите, гнусностью, — чтобы взять то, что по всем разумным соображениям мне причиталось… Не стану скрывать: я чувствовал себя орудием правосудия. Той же мерой, которой

отмерили мне, я бы отмерил им самим. Нет такой жестокости, на которую не способен человек, убежденный, что исполняет волю Божью. Опережая ваши возражения: я сам прекрасно сознаю, какое святотатство приписывать себе подобную богоизбранность. Так что давайте включим это в список того, что я готов был на себя взять — святотатственное покушение на чужую жизнь именем Бога. Однако до дела не дошло. Поэтому, к сожалению, не могу вам рассказать, каково это — убить человека. Я не знаю, смог бы совершить убийство или нет. Зато могу рассказать, каково стоять на пороге убийства и желать переступить через него — желать каждой частицей своего существа, отвечающей за решимость. Ответил ли я на ваш вопрос хотя бы отчасти?

Однако Струлович уже спит, обессилевший от слишком большого количества злости, слишком большого количества беспокойства, алкоголя и, не исключено, слишком большого количества вопросов.

У Шейлока, впрочем, есть иное объяснение.

Этот Струлович принципиально отказывается бодрствовать, думает он.

Этот Струлович задает вопросы, но не хочет знать ответов.

Евреи сентиментальны по отношению к себе, и этот Струлович, хотя до сих пор не определился, еврей он или нет, не исключение. Еврей в его понимании не способен на то, на что способны христиане. Еврей не может убить. Струлович объявил меня героем за то, что сделали со мной, а не за то, что сделал или мог бы сделать я. Хороший еврей — пинаемый, плохой еврей — пинающий.

Если нас уколоть — разве у нас не идет кровь?[60] Но если мы сами колем — разве мы не проливаем крови? Струлович предпочитает этого не знать.

Наша знаменитая этика завела нас в тот еще тупик, хочется Шейлоку сказать жене. Если мы не можем признать, что способны на убийство, как все прочие люди, это нас не возвеличивает, а умаляет.

Согласна ли ты со мной, Лия, любовь моя?

Однако уже слишком поздно и слишком холодно, чтобы выходить из дома. Там, где она обитает, всегда холодно.

Кроме того, Шейлок предвидит, что Лия уличит его в софистике. Он слукавил, произнося речь перед Струловичем. Он был волен убить Антонио. «Так повелел закон, так суд решил», — объявил

---

[60] Примечания: 60

У. Шекспир, «Венецианский купец». Акт III, сцена 1.

коротышка-адвокат с писклявым голосом. В тот миг Шейлок сам вершил историю. Так что нечего теперь оправдываться: «Не могу вам рассказать, каково это — убить человека, потому что до дела не дошло». До дела не дошло потому, что Шейлок сам до него не допустил. «Отдайте мне мои деньги, и я уйду», — сказал он.

Трусость? Или благочестивое следование иудейскому закону? Всевышний запретил самоубийство, а пролить хоть каплю христианской крови значило бы совершить самоубийство.

Малодушие ли это или благочестие, не отмечает ли оно ту грань, через которую еврей, несмотря на храбрые разговоры о мести, переступить не смеет?

Неудивительно, что Струлович, в остальном безупречный хозяин, предпочел заснуть.

Несмотря на поздний час и холод, Шейлок все-таки выходит в сад, чтобы выслушать упрек от Лии. Он предпочел остаться в живых, хотя у него отняли все, ради чего стоило жить. Он мог бы убить врага и присоединиться к жене. Так почему же этого не сделал?

XVIII

— Дорогая, я вернулась! Даже не дала им закончить.

Анна Ливия Плюрабель Клеопатра Прекрасное Пленяет Навсегда Мудрее Чем Соломон Кристина впорхнула в комнату, держа в руках перевязанный лентами букет из роз и незабудок. На одном глазу у нее была повязка, как у пирата, кожа вокруг губ опухла и покраснела.

— Ты похожа на подружку невесты! — воскликнула Беатрис, не зная, что еще сказать.

— Дорогая, я и чувствую себя соответственно!

Плюри внимательно оглядела незаправленную постель единственным видимым глазом.

— Ты что, ищешь следы крови?! — удивилась Беатрис.

— Разумеется, нет. Я ищу Грейтана.

Она вопросительно кивнула на дверь ванной.

— Его здесь нет, — ответила Беатрис.

— Вы же не?..

— Нет-нет, мы не…

— Так вы все еще?..

— Да, мы все еще. Но я почти его не видела с тех

пор, как мы приехали.

— Вы же приехали только вчера, если не ошибаюсь?

— Не ошибаешься. Но Грейтан то сматывается вниз, то ненадолго отлучается. Вот опять куда-то улизнул. Не знаю, зачем.

— Может, занимается приготовлениями?

— К чему?

— Сама знаешь, — подмигнула Плюрабель.

Беатрис нахмурилась.

— Скорой свадьбы обещать тебе не могу.

При виде разочарования, отразившегося на многострадальном лице Плюрабель, Беатрис усомнилась в твердости тех решений, которые приняла накануне вечером, пока Грейтан отсутствовал. Вернулся он в разумный срок, как и обещал, — если, конечно, в подобном положении какой бы то ни было срок может считаться разумным, — и, опять же как обещал, совершенно трезвый. Однако Беатрис решила не ждать возлюбленного и лечь спать — а затем, в порыве артистического вдохновения, лечь и умереть.

«А вдруг это отец пришел меня спасти?» — подумала Беатрис, пока лежала и прислушивалась к скрипу половиц за дверью спальни. Тогда надо бы… Нет, она не станет прикрывать свою наготу.

Пускай все видят, что с ней сделали. И как хорошо она может это сыграть.

Оказалось, что пришел все-таки Грейтан.

Чертов отец. Вечно его нет, когда он нужен.

Беатрис провела странный вечер, лежа на пухлых, как губы Плюрабель, подушках, потягивая шампанское, словно истомившаяся от жажды пчела, закусывая миндальными пирожными и размышляя о жизненных парадоксах.

Как бы упорно Беатрис ни противилась отцовским сдвигам на почве Завета, — а сопротивление это, кажется, длилось всю ее недолгую жизнь, — в потаенном уголке души она испытывала к ним уважение. К ним или к той фанатичной преданности, с какой отец им следовал? Беатрис сомневалась, что свадебный будуар, который выделила ей Плюри, способствует проведению столь тонких различий. Она читала, что похищенные иногда влюбляются в своих похитителей и в их идеологию. Не то же ли произошло с ней самой? Похититель в данном случае, естественно, не Грейтан, а отец. Объяснить этого Беатрис не могла, одобрить тоже, однако теперь, когда их противостояние наконец-то вылилось в побег, она смотрела на отца иначе и думала, что, быть может, он по-своему прав. Прав не в том, как ее

воспитывал, а в том, как не воспитывал. Беатрис легко могла бы позавидовать подругам, которые приходили и уходили, когда вздумается. Одна, дочь атеистов, с тринадцати лет спала с парнем через стенку от своих свободомыслящих родителей. Другая, дитя поэтов, устраивала вечеринки прямо на дому — вечеринки, где присутствовали не только ее отец с матерью, но и бабушка с дедушкой, и где вещества, о которых Беатрис никогда не слышала, принимали через части тела, которых она никогда не видела, а сексуальные практики, казавшиеся ей практически невыполнимыми, открыто поощрялись.

Так почему же Беатрис им не завидовала? Как ни странно ей было услышать от себя подобное, она не завидовала подругам потому, что им не хватало достойного примера. Их мотало туда-сюда, словно слетевшие с петель ворота, а Беатрис пришлось научиться стойкости. Уж лучше иметь в отце противника, чем друга.

Не растрачивай себя на хтонических дебилов, Беатрис, повторял он ей. Ну не здорово ли, когда отец так думает? Хуже, что он проводит различие между хтоническими дебилами-евреями и хтоническими дебилами-гоями, а потому по-разному измеряет то время, которое она на них тратит.

Разве растрата не есть растрата?

Вся эта еврейскость никогда не была ей по вкусу.

— Какое мерзкое словечко — еврей! — сказала однажды родителям Беатрис, совсем еще маленькая девочка. — Словно черный жук с рожками.

Как ни странно, пощечину ей отвесила мать. Отец просто рассмеялся.

— Если мы не соблюдаем еврейских традиций, не едим еврейскую пищу, не отмечаем еврейских праздников и у нас нет друзей-евреев, почему я должна встречаться с еврейскими мальчиками? — спросила отца Беатрис несколько лет спустя.

— Во имя преемственности, — ответил он.

— И что же, по-твоему, я должна по этой преемственности передать?

— То, чем ты рождена стать.

— Еврейкой?

— Преемницей.

— Не понимаю, что это значит.

— Я тоже. Знаю одно: ты рождена не для того, чтобы выбросить себя на ветер. Ты не случайность, Беатрис. Ты началась не с себя, а потому не имеешь права собой закончиться. Жизнь — штука серьезная. Нельзя поддаваться любой

мимолетной прихоти.

Ты не ворота, слетевшие с петель…

И вот теперь, чтобы сохранить преемственность, — хотя это все равно уже не будет подлинная преемственность, — ее хтонический парень-гой должен пролить кровь. Возможно даже, истечь кровью. Объясни-ка, папа, в чем тут смысл?..

Может, отец меня и любит, но все равно он мясник, подумала Беатрис. У него не мозг, а скотобойня.

— Так что же случилось? — поинтересовалась Плюрабель.

И Беатрис ей рассказала.

* * *

Когда дело касалось помощи друзьям, д'Антон старался быть равно великодушным ко всем. Он должен оказать Барнаби две услуги: раздобыть эскиз Соломона Джозефа Соломона и солгать Плюри насчет кольца. Какие же две услуги можно оказать Грейтану? Помочь выпутаться из истории с еврейкой — раз. Однако Грейтан, похоже, не на шутку влюблен. Заставить Струловича смягчиться — два. Как этого достичь? Кроме самой Беатрис, у д'Антона нет ничего, что можно ему

посулить. Даже если придумать, как выманить девушку у Грейтана и вернуть отцу, какая тут польза самому Грейтану? Найти первоклассного хирурга, который сможет сделать операцию, — три. Скажем, хирурга, совершающего обрезание мальчикам из английской королевской семьи, если, конечно, данная традиция до сих пор существует. Однако одна мысль о том, чтобы сделаться пособником в этом гнусном деле, вызывала у д'Антона отвращение. Не буду я сводником у жида, решил он.

Внезапно д'Антон вспомнил, как несколько лет назад стал на пути у Струловича, когда тот хотел основать галерею англо-еврейского искусства в память о родителях. А если д'Антон пообещает, что больше не будет стоять у него на пути? Или пойдет еще дальше — предложит использовать свое немалое влияние и поддержать проект?

Готов оказать вам эту услугу, мистер Струлович, а взамен хочу лишь… чего? Д'Антон снова подсчитал в уме и понял, что ему нужно от Струловича две вещи: эскиз Соломона Джозефа Соломона и помилование Грейтана. А вдруг Струлович согласится только на одно условие из двух? Вдруг ему, д'Антону, придется выбирать? Ясно, что положение Грейтана более серьезно, однако, по

правде говоря, д'Антон сильнее симпатизировал Барнаби, а потому питал к его делу больше сочувствия. Грейтан сам влип в неприятную историю, слепо следуя той части своей натуры, которая, если уж начистоту, заслуживает наказания, в то время как Барнаби всего лишь пытался угодить прелестной, хотя и взбалмошной женщине. Еще одна причина предпочесть Барнаби: д'Антону скорее хотелось бы поспособствовать счастью Плюри, чем Беатрис, поскольку Беатрис Струлович была… в общем… Струлович.

Сам Соломон — другой Соломон — не смог бы разрешить подобную дилемму. Ирония заключалась в следующем: телешоу «Кулинарный советник» идеально подошло бы для того, чтобы определиться между двумя противоречивыми притязаниями на великодушие д'Антона, однако эскиз к картине «Первый урок любви» задумывался как сюрприз для Плюрабель, да и дискуссия о плюсах и минусах обрезания наверняка плохо сказалась бы на рейтинге. Посему д'Антон пришел к тому же, с чего начал, то есть хотел быть одинаково щедрым к обоим, но не знал, как это осуществить.

В любом случае, напомнил себе д'Антон, его расчеты преждевременны: вполне возможно,

Струлович вообще откажется иметь с ним дело. Д'Антон не сомневался, что его собственная ненависть — хотя нет, он ведь не питает к Струловичу ненависти, не так ли? — в таком случае, природное отвращение, нерасположение, антагонизм — совершенно взаимны. Что, если Струлович скорее оставит эскиз за собой и рискнет потерять дочь, чем примет снисхождение д'Антона — а он, несомненно, поймет его именно в таком ключе, — в вопросе, который когда-то вызвал между ними столько неприязни? Бывают ли вообще — чисто риторический вопрос — сговорчивые и немстительные евреи?

Все внимательно обдумав, д'Антон порадовался, что не успел отправить Струловичу письмо. Лучше пока не раскрывать карты — не сообщать жиду, что д'Антону от него нужно. Воистину, время на обдумывание следующего хода никогда не бывает потрачено впустую. Д'Антон хотел еще раз взглянуть на письмо и при необходимости сгладить излишне просительный тон, однако на столе письма не оказалось. Это могло означать лишь одно: секретарь, всегда готовый услужить тому, кто постоянно был поглощен служением другим, лично доставил конверт и передал в руки Струловичу.

Д’Антон согнулся над столом, словно от боли. Он представил, как заклятый враг, сгорбившись, точно над мешком с деньгами, с демоническим удовольствием теребит в пальцах злополучное послание.

Д’Антон содрогнулся. Теперь не только Грей-тану Хаусому следует опасаться жидовского коварства.

XIX

Время, подумал Струлович, решает все.

Если бы он получил письмо д'Антона до того, как увидел его в ресторане «Тревизо» в одной шайке с Грейтаном Хаусомом, то, возможно, отнесся бы к содержащейся в нем просьбе если не доброжелательно — пожалуй, слово «доброжелательно» будет здесь некоторым преувеличением, — то, по крайней мере, с иронической благосклонностью. Занятно, что подобный человек обращается к Струловичу в роли просителя. И как занятно было бы оказать подобному человеку услугу: уступить ему эскиз Соломона Джозефа Соломона ровно за ту же цену, за которую купил его сам, таким образом лишив удовольствия назвать продавца ростовщиком и пройдохой. Струловичу нравился этот эскиз, отмеченный художественным вкусом и вниманием к анатомическим подробностям, но нравился не до такой степени, как роскошное произведение, созданное на его основе. Владей Струлович самой картиной, он не отдал бы ее никому и ни за какие деньги. Однако с первой попыткой, как она ни очаровательна,

расстаться можно, тем более когда награда столь сладостна. Д'Антон, старина, неужели вы не знали, что вам стоит только попросить? Как же я рад, что вы все-таки сделались поклонником еврейского искусства!

Да что там! Можно было бы просто подарить ему эскиз.

Однако теперь Струлович знал, что д'Антон — приятель, а возможно, и сообщник Грейтана Хаусома. Непонятно, что у них общего, ясно одно: они собратья по гнусности. Не причастен ли д'Антон к бегству Хаусома с Беатрис? Струлович видел приятелей вместе вечером того самого дня, когда его дочь исчезла, и они явно что-то замышляли. Столь странное совпадение наводило на мысль, что любовники провели ночь у д'Антона. Кто знает, возможно, они все еще у д'Антона — наслаждаются его помпезным гостеприимством. Наверняка помпезным, но в то же время аскетичным — пьют саке из маленьких чашечек дорогого японского фарфора или потягивают коктейль «Беллини», радуясь досаде обманутого отца.

Струлович перечитал письмо. Правильно ли он уловил его тон? То, что сперва показалось приниженной просьбой, теперь больше напоминало злобный розыгрыш. Надо бы написать изыскан-

но ироничный ответ, но что, если вся ирония на стороне д'Антона, а объект ее — он, Струлович?

Этот неназванный юноша — «молодой и впечатлительный друг», который хочет преподнести картину женщине в знак своей преданности… Не может быть никаких сомнений, кто он такой. Разумеется, Хаусом.

В таком случае женщина, которой он предан — подумать только, предан! — это Беатрис.

А название самой картины! «Первый урок любви». Не заметить непристойный намек невозможно. Молодая особа — ученица Хаусома в сфере эротических искусств — будет дорожить картиной так сильно, как только он, Струлович, может того пожелать. Что имел в виду д'Антон? Либо слова его выражали неприкрытый сарказм, либо намекали на некую непристойность, таящуюся в отцовской заботе Струловича.

Я остался в дураках, понял Струлович.

Он мерил шагами гостиную и размахивал письмом, словно веером.

— Что ж, мы еще поглядим! — произнес он вслух.

В это время Шейлок беседовал в саду с Лией.

— Последние несколько дней я думал о том, как наша рафинированная нравственность делает

нас не способными на спонтанные поступки.

— Что ты имеешь в виду, любовь моя?

— Ну, взять хотя бы Струловича. Что я для него такое? Он часто сверлит меня взглядом, когда думает, будто я не замечаю. Взгляд его начинается в глубочайших тайниках ума и заканчивается сам не знаю где. Даже ты, дорогая моя, никогда не смотрела на меня так пристально. Я бы не сказал, что это любовь. Но и не восхищение. Скорее, напряженное любопытство, какое родитель может испытывать к ребенку или ребенок к родителю, нечто вроде озадаченной гордости, точно все, что я делаю или когда-либо сделал, генетически сказывается на нем. Я либо его воодушевляю, либо разочаровываю. Равнодушно относиться ко мне он не может. Весь я — урок, весь — пример. Надеюсь, я никогда не был подобным испытанием для тебя, Лия. Или для Джессики.

Шейлоку тяжело произносить имя Джессики. Слишком многое приходится скрывать, слишком о многом умалчивать, слишком много связано с ним горя. Чувствует ли жена? Угадывает ли своим безошибочным чутьем, чего стоит ему не упоминать имя дочери? И стоит ли ей это так же дорого?

— Как бы там ни было, — продолжил он после

некоторого молчания, — необходимость служить образцом, — никогда бы не взял на себя подобную роль! — из-под которого постоянно выбивают основу его образцовости, ставит меня в ложное положение. Ох уж эти евреи, Лия, ох уж эти евреи! Не знают, плакать обо мне, отречься от меня или придумать мне объяснение. Сначала ждут знака, что они не так приниженно-пассивны, как их привыкли описывать, а потом рвут на себе волосы от стыда. «Наш народ находится на грани уничтожения, — любит повторять Струлович при всяком удобном случае. — Нам не у кого искать помощи, кроме самих себя». Но когда еврей поднимает руку, чтобы себе помочь, смелость изменяет Струловичу. Я прекрасно вижу, о чем он думает: «Уж лучше быть убитыми, чем убийцами». Только посмотри, как он мерит шагами комнату, замышляя месть, которую в итоге не отважится осуществить. Ему не хватает решимости. Скажи, что мне с ним делать? Подстегнуть или оставить в покое?

Шейлок ждал, чтобы Лия высказалась. Пока она была жива, они говорили часто и подолгу. Говорили и говорили. Когда жена умерла, ему показалось, будто кто-то обрезал шнур, связывавший его с жизнью. Он ходил в синагогу пообщаться с

другими мужчинами, однако мужское общество не могло заменить общества Лии. Их брак не был синагогальным: они беседовали об идеях, а не о вере. Лию не сковывали ни условности, ни традиции. Она напоминала источник чистой, свежей мысли. Когда ее не стало, горло Шейлока пересохло, а ум притупился. Ему не хотелось ничего видеть: какой толк от зрения, если увиденным нельзя поделиться с Лией? Шейлок отвратил слух от музыки, забросил чтение, пока снова не начал читать жене у нее на могиле. Он не видел смысла что-либо делать и часами просиживал, ни о чем не думая, погруженный в пустоту, более похожую на небытие, чем на скорбь. В чем состоял смысл его жизни до Лии? Он не помнил. Никакого «до Лии» не было. Он понимал, что для дочери дом превратился в ад: она не могла ни вывести отца из оцепенения, ни пробудить в нем интерес к своей жизни. Если он и раньше был плохим отцом — человеком, который жил только ради любви к жене, — то со смертью этой чрезмерно любимой жены стал отцом еще худшим. Бедная, бедная Джессика! Разом лишилась обоих родителей. Что же после этого удивляться? Оправдания ей нет, но и удивляться нечему. Когда же он все-таки обрел часть былой энергии, то не благодаря заново

вспыхнувшей заботе о дочери. Шейлоку хотелось бы солгать себе. И ей тоже. «Я вернулся к жизни ради тебя, Джессика. Я вспомнил о своем долге перед тобой». Но правда заключалась в другом: это христиане расшевелили его своими уколами. В их презрении он нашел новый, извращенный стимул жить.

Гнев, а не любовь побуждает человека к действию.

Шейлок поднял голову и увидел Струловича: он тоже облюбовал себе участок сада и теперь шагал туда-сюда, уйдя в собственные мысли и беззвучно шевеля губами. Одинокий человек, которому не поговорить с женой.

Шейлок без труда прочел, что говорил Струлович:

— Я так вам отомщу…

Чувства его были Шейлоку понятны. Он и сам когда-то мечтал «так» отомстить.

Я отомщу вам так, что вся земля…[61]

По крайней мере, Струловичу есть чего ждать. Он еще не знает сам, чем отомстит. А Шейлок в тупике. То, что он сделал, он уже сделал, а то, что только намеревался, не сделает теперь никогда.

---

[61] Примечания: 61

У. Шекспир, «Король Лир». Акт II, сцена 4. *Перевод О. Сороки.*

Я скучаю по будущему, подумал Шейлок.

— Скажи, — снова обратился он к Лии, — удержать мне его — или довести до той мстительной ярости, о которой он мечтал всю жизнь?

Холодная земля, вместе с которой вращалась Лия, издала тяжкий стон.

— Хорошо, — кивнул Шейлок. — В этом, как и во всем остальном, я последую твоему совету.

* * *

— Что нам делать? А вот что нам делать!

Плюрабель указала большим пальцем себе за плечо, как бы говоря: «Отправить их куда подальше. Поездом, кораблем, самолетом — чем угодно. Лишь бы сплавить отсюда».

Д'Антон колебался.

— Стоит ли злить такого низкого человека?

— Еврея?

— Да, богача-еврея.

— Жида?

— Ну да, денежного мешка, кого же еще?

Они рассмеялись. Даже в трудную минуту приятно поиграть в «еврепитеты».

— Ну вот, я забыла, о чем шла речь. Повтори, пожалуйста, свой вопрос.

— Я спросил, стоит ли злить еврея.

— Ты про неумолимого пса?

— Перестань, Плюри!

— Настаиваешь?

— Настаиваю. Спрашиваю еще раз: стоит ли его злить?

— Тебе ведь не безразличны наши друзья?

— Мне небезразличен Грейтан. Дочка еврея значит для меня чуть меньше.

— Зато для меня она значит очень многое. Я не позволю судить о Беатрис по той свинье, которую она зовет отцом.

— По тому свиноненавистнику, хочешь ты сказать.

— Что же, одна свинья вполне может ненавидеть другую. Но пойми: Беатрис не он, как и я не мой отец.

— Твой отец, насколько я понимаю, принадлежал к несколько иной породе отцов.

— Он не был жидом, вурдалаком, изувером и кровопийцей, если ты об этом.

— Да, я имел в виду нечто подобное.

— Я люблю Беатрис, несмотря на ее толстогубого папашу. Я полагаю, у него толстые губы — мы ведь ни разу с ним не встречались.

— Толстые и влажные.

Говоря это, д'Антон старался не смотреть на

губы своей собеседницы.

— Так я и думала. А у Беатрис — пухлые и соблазнительные.

— Как у тебя.

— Спасибо. Но не отвлекайся. Грейтан любит Беатрис, и я требую, чтобы ты тоже ее любил.

— Так почему бы им не переждать здесь, пока буря не стихнет?

— А вдруг буря не стихнет? Не хочу, чтобы этот крючконосый — я полагаю, у него крючковатый нос (можешь не отвечать) — ломился ко мне в дверь. Сам понимаешь, журналисты придут от такого в восторг. К тому же влюбленным надо немного побыть наедине. Беатрис ведет себя как-то странно. Они с Грейтаном уже успели поссориться. Как бы она не пришла к выводу, что совершила ошибку. И потом, ты же знаешь Грейтана. Чуть что не так, он сразу бежит искать себе новую жену.

— В любом случае им нельзя уезжать. У Грейтана матчи. Не может же он возвращаться в Стокпорт каждые выходные.

— Разве его не дисквалифицировали за то приветствие?

— Это было год назад, если не больше.

— А нельзя сделать так, чтобы снова дисквали-

фицировали? Пусть стукнет кого-нибудь.

— Сделать-то можно, но вряд ли Грейтан будет нам благодарен. Еще одна дисквалификация, и его карьере конец.

— Тогда давай попросим дать ему отпуск по семейным обстоятельствам. Всех менеджеров я знаю, и каждый из них мечтает оказаться на моей передаче. — Плюрабель игриво тряхнула волосами. — Или в моей постели. Поверь, менеджер Грейтана у меня в руках. Как его зовут?

— Не знаю, удачная ли это идея…

Дело запутывалось. Д'Антон уже не мог сообразить, каким образом один план действий влияет на все остальные. Что же будет с надеждами Барнаби? И как побег парочки за границу скажется на его собственном замысле помочь Струловичу с открытием галереи в обмен на эскиз Соломона Джозефа Соломона? Похоже, все в итоге проигрывают.

Кроме того, д'Антон не был уверен, каким образом отразится на чувствах влюбленных недостаток какого-либо общества, кроме их собственного. Плюри права: от Грейтана быстро устаешь. Когда не останется ни интриги, ни скандалов с отцом, Беатрис может обнаружить, что Грейтан не слишком интересный собеседник.

Вполне возможно, в эротическо-эстетическом смысле она тоже от него устанет и заключит, что у обрезания не так уж мало преимуществ. Если оставить религиозную сторону вопроса, д'Антон — поклонник красоты во всех ее проявлениях — и сам предпочитал отсутствие крайней плоти ее наличию. Каким чудом евреи — народ, начисто лишенный чувства прекрасного — пришли к тому же выводу, д'Антон объяснить не мог. Скорее можно было бы ожидать, что они постараются прицепить крайнюю плоть туда, где она не задумана природой. Сделают уродливым то, что первоначально было прекрасным. Вероятно, где-то на пути к окончательному отвержению Древнего мира евреи повстречали нескольких языческих ценителей мужской красоты. Как бы там ни обстояло дело в действительности, д'Антон не удивился бы, если бы Беатрис разделила его вкусы. И что тогда?

Как вариант — Грейтан поддастся на уговоры возлюбленной, Беатрис помирится с отцом, все вопросы чести будут улажены, и они отпразднуют пышную еврейскую свадьбу в Хэддон-холле, Торнтон-мэноре или, учитывая обширные связи

Струловича, даже в Чатсуорт-хаусе[62].

По причинам, которые он не смог бы облечь в слова, перспектива эта погрузила д'Антона в глубочайшее уныние.

— Даже не знаю… — повторил он.

* * *

За завтраком Шейлок сказал:

— Не могу не обратить внимания, что вид у вас помятый и взбудораженный. Должно быть, вы провели бессонную ночь, а чувства ваши в смятении.

— Могли бы просто сказать, что я отвратно выгляжу.

— Мне доводилось видеть вас и в лучшей форме. Могу я чем-то помочь?

— Меня носит по морю сомнений.

— Не знаете, вернуться в порт или продолжить путь?

— Обычно под морем сомнений подразумевается именно это.

— Каким же курсом вы предпочли бы следо-

---

[62] Примечания: 62

Хэддон-холл — особняк в графстве Дербишир. Резиденция герцога Ратленда. Торнтон-мэнор — особняк в графстве-метрополии Мерсисайд. Популярное место проведения свадеб. Чатсуорт-хаус — особняк в графстве Дербишир. Резиденция герцогов Девонширских.

вать?

— Если бы я знал, меня не мучали бы сомнения.

— Необязательно. Порой сомнения сопряжены с практическими трудностями, а не с предпочтениями.

«Когда ты уже уйдешь? — подумал Струлович. — Зачем пришел и когда оставишь меня в покое?»

В душе он по-прежнему восхищался своим гостем, по-прежнему искал его дружбы, однако в бытовом общении, особенно на фоне неприятностей с Беатрис, лингвистическая придирчивость Шейлока, или же моральная придирчивость, или же просто всеобъемлющая еврейская придирчивость казалась Струловичу слишком обременительной.

— Мои сомнения, — ответил он со вздохом, — не сопряжены ни с практическими трудностями, ни с предпочтениями.

Он говорил медленно, словно длинные слова давались ему с трудом.

— Мои сомнения сопряжены с вопросами морали. С моими правами и обязанностями как еврейского отца в противовес правам и обязанностям моей дочери как… сам не знаю, кого. Вправе

ли я разыскать Беатрис и притащить ее домой? Вправе ли она уезжать куда и с кем пожелает? Могу ли я требовать, чтобы она вышла замуж за еврея? Или, по крайней мере, за ближайший аналог мужу-еврею, который я смогу раздобыть? Имеет ли Беатрис право добиться, чтобы меня признали невменяемым? Позволительно ли ее новым друзьям надо мной насмехаться? Насколько оправданно вернуть им этот смех с процентами, в десятикратном или стократном размере, честным или бесчестным путем? Это тоже составляет предмет моих сомнений — какими средствами заставить их страдать?

— Последнее нельзя отнести к вопросам морали, — заметил Шейлок.

— Вы сегодня необычайно педантичны. Неужели я и вас чем-то обидел?

— Ничуть. Просто хочу убедиться, что мы говорим об одном и том же, прежде чем вмешиваться.

— Если вы намерены усилить мои сомнения, то, прошу вас, не надо. У меня и так голова болит.

— Мое вмешательство не усилит ваших сомнений. Напротив, оно заставит вас решиться.

— Решиться на что?

— Потребовать расплаты.

— На каких основаниях?

Шейлок колебался не дольше секунды.

— Растление малолетних. Грейтан Хаусом соблазнил вашу несовершеннолетнюю дочь.

— Моей дочери шестнадцать.

— Когда он впервые переспал с Беатрис, ей было пятнадцать. Насколько я понимаю, в вашей стране это противозаконно.

Внезапно Струловичу стало трудно глотать. Он положил ладони на стол, словно демонстрируя, что в руках у него ничего нет, и, казалось, ждал от Шейлока того же.

— Откуда вы знаете?

— Я знаю то, что знаю. Слишком поздно подвергать мои методы сомнению.

— Я подвергаю сомнению не методы, а источники. Вы только что выдвинули серьезное обвинение. Мне нужно убедиться, что ему можно верить. Откуда у вас такие сведения?

— Какой толк от подобных вопросов? Лучше найдите доказательства. Загляните к дочери в компьютер. Проверьте почту.

— Вы что, читали ее электронные письма?

— Всего лишь предлагаю вам почитать. Возможно, это противоречит вашим моральным принципам, однако вы сами признались, что

уже глянули одним глазком. Попробуйте глянуть двумя.

— Это противоречит моим моральным принципам.

— А как насчет того, что ваша дочь сейчас за границей с человеком, который в два раза ее старше? Который спал с ней, когда ей было пятнадцать? Как это согласуется с вашими моральными принципами?

«Ты меня терзаешь, Тубал…»

А если Тубал солгал?

Рассматривал ли когда-нибудь Шейлок подобную возможность?

«Дочь ваша истратила в Генуе, как я слышал, в один вечер восемьдесят дукатов…»

Как ты «слышал», Тубал? Ты «слышал», черт тебя подери?!

Доверившись «слуху» Тубала, — проще говоря, просто сплетням, — Шейлок выстроил обвинение против дочери, а затем и против каждого гоя в Венеции, которое не могло не вылиться в катастрофу. Даже Отелло пришлось убеждать дольше.

«Ты в меня вонзаешь кинжал!»

Действовал ли Тубал сознательно? Пытался ли нарочно распалить друга, довести его до безумия?

Мотив искать ни к чему. Распалить друга — само по себе мотив. Гораздо больше Струловича интересовало другое: почему Шейлок с такой готовностью подставил грудь под кинжал? С не меньшей готовностью, чем Антонио подставил свою под нож самого Шейлока. Когда дело касалось желания пролить собственную кровь, они — купец и еврей — друг друга стоили.

Что же до того, говорил Тубал правду или нет, все зашло слишком далеко, чтобы проверить.

И все-таки Струлович, уязвленный откровениями Шейлока, не мог не уязвить его в ответ. В груди у него, словно желчь, поднялась жестокая мстительность.

— Вам никогда не приходило в голову, что Тубал мог солгать?

Шейлок тут же понял логику этого вызова.

— Вы боитесь, не передал ли я вам ложные сведения? Я же сказал: поищите подтверждения в компьютере у дочери.

— Значит ли это, что вам хотелось бы получить подтверждение словам Тубала?

Шейлок поставил локти на кухонный стол и подпер подбородок кулаками. Со стороны казалось, что он до боли впивается костяшками в нижнюю челюсть. А может, мне просто хочется

так думать, промелькнуло в голове у Струловича. Он не собирался торопить Шейлока с ответом. Молчание было достаточно красноречиво: так хотелось бы или нет?

— Во время самого разговора — нет, не хотелось, — произнес Шейлок, когда соблаговолил наконец заговорить. Он по-прежнему подпирал подбородок кулаками, как будто желал, чтобы произнесение слов давалось ему с трудом, поэтому речь его звучала невнятно. — Тубал сообщил мне о том, чего я боялся, а когда мы чего-то боимся, то отчасти хотим, чтобы оно произошло. Но по здравом размышлении — да. По здравом размышлении я порой спрашиваю себя, не участвовал ли Тубал во всеобщем заговоре и не потому ли я потерял дочь, что прислушивался к нему. Я до сих пор считаю себя потенциально за это ответственным. Я существую в равновесии между горем и чувством вины. Но что толку сомневаться? Моя дочь сбежала. Я не нуждался в Тубале, чтобы это понять. Ей одной было известно, где хранится то, что она похитила. Даже если бы я вытряс из Тубала всю душу, что такого он мог бы мне сообщить? Что Джессика потратила не восемьдесят, а шестьдесят дукатов? Сорок? Десять?

— Подобные детали имеют значение. Сколько

было моей дочери, когда Хаусом впервые с ней переспал — пятнадцать или шестнадцать? От ответа зависит очень многое.

— Так проверьте ее компьютер. Я всего лишь вестник.

— Тубал ответил бы то же самое. Однако в некоторых случаях вестник не менее отвратителен, чем весть. Если человек «всего лишь вестник», это еще не значит, что его не в чем упрекнуть. А если в душе Тубал оправдывал то, что рассказывал?

— Вы бы предпочли, чтобы я вырезал ему сердце? Что ж, возможно, вы и правы. Возможно, стоило подступить с ножом к нему, а не к Антонио. Но от вестников есть одна несомненная польза: они сообщают, что о нас говорят окружающие. Так что им следует доверять хотя бы отчасти. Джессика сбежала. Куда и сколько она там потратила — не имеет значения.

— А как же обезьяна?

— А что обезьяна?

— Вдруг никакой обезьяны не было? Вдруг это всего лишь порождение еврейских страхов Тубала?

— Обезьяна была.

— Вдруг он желал вам вреда?

— Зачем ему это?

— Затем, что каждый еврей — вроде дьявола, даже по отношению к другому еврею.

— Обезьяна была.

Час спустя Струлович вернулся к столу. Лицо у него было красное, голос хриплый. Казалось, он пьян. На самом деле он всего лишь взломал компьютер дочери.

— Я убью его, — прохрипел Струлович.

Отлично, подумал Шейлок. Посмотрим, хватит ли у тебя смелости.

Вслух же он сказал:

— Для начала нужно его разыскать.

XX

— Ой гевальто, мы на Риальто! — воскликнула Беатрис.

Грейтан непонимающе уставился на нее. Воздух был полон всевозможных звуков: пели гондольеры, кричали официанты, поднималась вода в каналах, звонили церковные колокола, раскрывались зонтики.

— Я не расслышал, — сказал он.

— Ой гевальто, мы на Риальто!

Понятнее не стало.

— Неважно, — отмахнулась она.

Не то чтобы Беатрис была разочарована. Сколько же раз она говорила себе это? Но если Беатрис не то чтобы разочарована, чего конкретно она ожидала? Ничего — так получается? В таком случае, что она вообще здесь делает?

А это? Сколько раз она говорила себе это?

Беатрис уже бывала в Венеции — ездила вместе с отцом на Венецианскую биеннале. Ходила из павильона в павильон и слушала, как он поносит инсталляции, видео, беленые холсты и затемненные комнаты, в которых кричали то ли от боли,

то ли от оргазма безликие женщины — словом, поносит все то, что ей нравится. Поэтому Беатрис знала, каково быть в Венеции с раздраженным мужчиной. Еще она знала, каково быть в Венеции, когда светит солнце, а раздраженный мужчина раздражен по эстетическому поводу, а не… Кстати, а почему, собственно, раздражен Грейтан? Неужели она уже превратилась в его жену? Беатрис сидела под навесом, с которого стекали капли, смотрела, как вода падает в воду, и глубоко вздыхала. Венеция способна на большее, думала она. А вот Грейтан, когда дело не касается секса, на большее не способен — она провела с ним достаточно времени, чтобы это осознать. Гораздо веселее было бы с евреем, который понимает ее шутки. Но Беатрис ни за что не призналась бы отцу, что ее посещали подобные мысли — не доставила бы ему такого удовольствия. Впрочем, Струлович прочел бы все по выражению лица, если бы увидел дочь в эту минуту.

— Другие просто не поймут, о чем ты говоришь, — предупреждал ее он. — Не поймут культурных аллюзий. Не забывай: твоему интеллекту пять тысяч лет, а христиане родились только вчера. Они не могут думать больше чем

об одном предмете одновременно, а ты можешь думать о целом десятке.

— Я просто хочу с ними трахаться, — ответила однажды Беатрис.

За что получила пощечину.

Вот и говори после этого правду.

С тех пор она много раз спрашивала себя, почему не позвонила в полицию или не подала на отца в суд по правам человека. Нельзя же бить детей только потому, что они сквернословят.

Или же он ударил ее за то, что ей хотелось трахаться с христианами?

В любом случае псих получил по заслугам. Произошло именно то, чего он боялся больше всего на свете: Беатрис сбежала из дома и фактически вышла замуж — вышла бы и юридически, если бы Грейтан не оказался женат, — за гоя, который и об одном-то предмете думать не в состоянии. И он, ее психованный, вечно всего боящийся отец сам в этом виноват.

Будь я уверена, что я там, где хочу быть, и с тем, с кем хочу быть, я бы его поблагодарила, подумала Беатрис. Однако уверенности она не испытывала. Нельзя сказать, чтобы она чувствовала себя несчастной. Прошло три дня с тех пор, как Плюри с д'Антоном усадили их в самолет, и

за это время до Грейтана наконец-то дошло, что ее не устраивает, когда он постоянно куда-нибудь сматывается, стоит им остаться наедине. Так что теперь Беатрис наслаждалась его обществом — по крайней мере, в том смысле, в каком шомрим, еврейский караул у ложа умершего, наслаждается обществом трупа. Даже в дожде она находила свою прелесть. Было почти весело — ей, во всяком случае, — пробираться по дощатым настилам через площадь Святого Марка и, сидя в кафе, ловить дождинки в чашку из-под кофе. Будь это рядовая размолвка с мужчиной того сорта, с которым не желал видеть ее отец, Беатрис сочла бы поездку умеренным фиаско, а таких в ее недолгой жизни насчитывалось немало. Но это не была рядовая размолвка. Они с тревогой ожидали новостей. Шарахались от полиции — отец запросто мог уведомить Интерпол. Грейтан боялся, что нарушил условия контракта с клубом, который искал только повода от него избавиться. Он уже начал поговаривать о том, чтобы выучить итальянский — полнейшая нелепица: ему бы для начала овладеть азами английского — и попасть в запас клуба «Венеция». Во время проводов в аэропорту атмосфера тоже царила неприятная. Несмотря на первоначальный восторг Плюри, они с д'Анто-

ном ясно дали понять, что недовольны. Грейтан заявил, что не позволит обращаться с собой, как с ребенком, а д'Антон ответил: «Тогда перестань вести себя как ребенок».

В общем, риск должен того стоить — для них обоих, не так ли? Беатрис должна скрывать, что родилась пять тысяч лет назад, а Грейтан должен быть человеком, с которым она готова провести следующие пять тысяч. Он должен завораживать и блистать остроумием. Должен интересоваться искусством перформанса и понимать ее шутки. Когда она на него смотрит, у нее должны дрожать коленки. Когда Грейтан открывает рот, он должен вызывать у нее чувство гордости. Должен больше походить на настоящего менша[63]. А что же он?

А он не походил.

— Ой вей, вот бы домой поскорей! — пробормотала Беатрис.

* * *

Когда кто-нибудь звонит в парадную дверь, д'Антон редко открывает сам. Слишком много времени уходит у него на то, чтобы придать лицу выражение, сколько-нибудь похожее на любез-

---

[63] Примечания: 63
Менш — уважаемый человек (*идиш*).

ность. Муж скорбей ничего не делает в спешке. Кроме того, д'Антон не любит неожиданностей, а потому дверь, когда это необходимо, открывает за него секретарь. В Золотом треугольнике люди редко навещают друг друга без предварительной договоренности. Скорее всего хозяина не окажется дома, а от того места, где вы припарковали машину, парадную дверь, как правило, отделяет длинная, посыпанная гравием дорожка. С какой стороны ни взгляни, гораздо проще созвониться и встретиться где-нибудь в ресторане. Отчасти поэтому д'Антон не установил домофон — все равно необходимости в нем практически никакой. К тому же не хотел уродовать дверь. Вместо домофона есть колокольчик с плетеным шнурком, который не без труда удалось выторговать у привратника буддийского монастыря в Бирме. Однако редкие посетители никогда не дергают за шнурок достаточно сильно, а д'Антон не намерен вешать на дверь вульгарную записку с инструкциями.

Сегодня секретарь отсутствует — навещает больного родственника в деревне (жители Золотого треугольника никогда не называют место своего обитания деревней, не называют его и городом). Так что когда мелодичный бирманский колокольчик внезапно начинает звенеть,

д’Антон подпрыгивает от неожиданности и раздражения. Ему приходится самому совершить долгий путь от кабинета до первого этажа — точно так же, как монахам приходилось спускаться с горы для вечерних молитв. Прежде чем д’Антон успевает добраться до двери, колокольчик звонит еще трижды. Посетитель нетерпелив и плохо воспитан. Значит, не Барнаби и не свидетель Иеговы. Кем бы ни был незваный гость, он так сильно дергает за шнурок, что д’Антон опасается, как бы колокольчик не оторвался от стены.

— Иду, иду! — кричит он. — Спешу, как могу.

Если в мягких непальских туфлях с загнутыми носками вообще можно спешить.

Отперев дверь, д’Антон обнаруживает за ней Струловича.

Оба предпочитают не встречаться глазами — ни при каких обстоятельствах, — а потому смотрят друг другу через плечо. Если бы д’Антон был пиратом, Струлович обращался бы к сидящему у него на плече попугаю. Сам д’Антон направляет взгляд куда-то за спину своему гостю, словно смотрит на одетых в ермолки и головные платки дедушек и бабушек Струловича, которые падают под копытами казачьих лошадей, бормоча молитвы своему обветшалому богу, в то

время как на заднем плане полыхают их жалкие лачуги… Достаточно, одергивает себя д'Антон.

Незваный гость держит в руках лист бумаги с шапкой, в котором д'Антон немедленно узнает собственное письмо.

Струлович заговаривает первым:

— Можем начать прямо здесь или же войти в дом.

— Начать?

— Собственно, мы уже начали. Так вы предпочитаете здесь?

— Я вас не боюсь, — говорит д'Антон.

Струлович разглаживает мягкие концы воротничка.

— Я этого и не ждал. Мы с вами оба лица духовные.

— Более духовное лицо связалось бы со мной, прежде чем колотить мне в дверь.

Струлович смеется.

— Колотить? Разве колокольчик предназначен не для того, чтобы в него звонили? Вряд ли я мог бы заявить о своем присутствии более деликатно. Я дергал за шнурок так, словно вытягивал из гобелена распустившуюся нитку.

— Тем самым безнадежно испортив гобелен… Вижу, вы прочли мое письмо.

— Что же еще могло привести меня сюда? Вам хотелось получить ответ, и вот я здесь.

— Но вы не принесли с собой картину.

— А вы не вручили мне то, что я хочу за нее получить.

— Могу выписать чек немедленно.

— Мне не нужен чек.

— Что же вам нужно?

— Не что, а кто.

— Ваша дочь не у меня, если речь о ней.

— Вы сами признались, что знаете о моей дочери. Хорошо. Это сэкономит нам обоим массу времени.

— Да, я знаком с вашей дочерью. Несчастная девушка.

— Думаете, вы вправе об этом судить?

— Если она сама рассказывает мне о своей несчастной жизни, думаю, да.

— Зачем моей дочери рассказывать вам о своей несчастной жизни? Кто вы ей?

— Друг ее друга. Но вам и без меня это известно. Вы видели нас вместе.

— Я видел вас вместе в тот вечер, когда Беатрис убежала из дома. Странно, что Грейтан Хаусом был с вами, а не с ней. Кем он вам приходится, хотел бы я знать?

Струлович доволен, что сдержался и не добавил: «Любовником?»

Д'Антон и без того догадывается, что он имеет в виду.

— Я не обязан обсуждать с вами природу нашей дружбы.

— А я не обязан отдавать вам картину, которую вы просите.

Меньше всего на свете д'Антону хотелось бы, чтобы Струлович входил к нему в дом, разглядывал его сокровища, оценивал, чего он стоит и какую жизнь ведет. Однако перед его мысленным взором встает несчастный Барнаби, и так уже проявляющий признаки нетерпеливой ревности, потому что д'Антон тайно переправил Грейтана вместе с его девкой в Венецию, но так и не сделал ничего для самого Барнаби — даже в отношении потерянного кольца, о котором Плюри может спросить в любую минуту. На полотне своей души д'Антон рисует заманчивую картину: он подкрадывается к Барнаби сзади, осторожно закрывает ему глаза руками и подводит к стене, где висит «Первый урок любви». Тебе. Тебе, чтобы ты мог порадовать Плюри — я ведь хочу, чтобы вы с ней были счастливы. Но, разумеется, подтекст у подарка другой: «Это тебе от меня».

Д’Антон любит принимать благодарность, каков бы ни был ее источник, однако благодарность Барнаби — дело особое.

— Входите, раз уж иначе нельзя, — говорит он Струловичу.

Прихожей в доме нет: они сразу же попадают в гостиную, все стены которой, начиная от уровня глаз и до самого потолка, завешены портретными миниатюрами. Акварель на слоновой кости, веленевой бумаге, фарфоре, масло на эмали и меди, крышки от табакерок в золотых филигранных рамках. Ни Рона Китая[64], ни Леона Коссофа[65], отмечает про себя Струлович. Впрочем, он ограничивается лишь беглым взглядом.

Сесть д’Антон Струловичу не предлагает.

— Не могу совершить сделку на предложенных вами условиях, — произносит он. — Не в моей власти обменять вашу дочь на картину.

— Хотите сказать, ее здесь нет?

— Ничего подобного я не говорил. Но вы правы: ее здесь нет и никогда не было. Вряд ли ей понра-

---

[64] Примечания: 64

Китай, Рональд Брукс (1932–2007) — американский живописец и график, заметная фигура поп-арта. Работал преимущественно в Англии. По материнской линии — потомок еврейских выходцев из России.

[65] Примечания: 65

Коссоф, Леон (род. в 1926 г.) — английский художник-экспрессионист. Родился в семье еврейских эмигрантов из России.

вилось бы в моем доме.

Струлович отдает себе отчет, что д'Антон хочет подвергнуть сомнению вкус его дочери, однако, оглядевшись по сторонам, вынужден согласиться.

— Нет, — говорит он, — совсем не понравилось бы. Но если в вашем доме ее нет, то где же она?

— Даже если бы я знал, с чего бы мне вам сообщать?

Струлович постукивает пальцем по письму, которое все еще держит в руке, словно повестку в суд.

— Думаете, мне настолько нужна эта картина? — спрашивает д'Антон.

— Ну, кому-то она определенно нужна, если, конечно, вы не хотели просто надо мной подшутить.

— Да, вы правы: кому-то нужна.

— Грейтану Хаусому, насколько я понимаю. В знак любви к моей дочери. Вряд ли можно ожидать, что в подобных обстоятельствах я легко расстанусь с картиной.

— Если я скажу, что вы ошибаетесь и подарок этот предназначен совсем другому лицу, вы назовете свою цену?

«Не стоит ли упомянуть, что я готов пересмот-

реть свое отношение к его галерее?» — спрашивает себя д'Антон, но тут же решает, что не стоит.

— Цена прежняя — моя дочь.

— В таком случае она слишком высока. Я не могу предать одного друга, чтобы доставить удовольствие другому.

— Смотрите на это не как на предательство друга, а как на помощь отцу.

— Среди отцов не меньше негодяев, чем среди прочих людей. Ваша дочь была несчастна, пока не встретила моего друга. С моей стороны было бы неправильно вмешиваться, даже если бы я обладал достаточным влиянием на Грейтана. В любом случае я бы не стал уговаривать его вернуться и принять ваше варварское предложение.

— Вернуться? Значит, они уехали?

— Беатрис достаточно взрослая, чтобы решать за себя.

— Сейчас — да.

— То есть?

— То есть она не была достаточно взрослой, когда ваш друг с ней замутил.

— Я не понимаю, что должно означать это «замутил».

— Так я вас просвещу. У меня есть доказательства, что Грейтан Хаусом спал с моей дочерью,

когда ей было пятнадцать. То, что это уголовное преступление, объяснять излишне. Однако вы, возможно, не задумывались, что тех, кто сознательно потворствовал Хаусому, можно привлечь к суду за соучастие. Советую теперь задуматься. В любом случае я хочу, чтобы моя дочь вернулась, а ваш друг вместе с ней. Мои дальнейшие действия во многом будут зависеть от вашей готовности к сотрудничеству.

Струлович испытывает немыслимое удовлетворение, когда д'Антону приходится сесть, хотя ни один стул в комнате не выглядит для этого пригодным.

* * *

— По-моему, он блефует, — объявила Плюрабель.

— Можно выяснить, сколько было Беатрис, когда Грейтан…

Д'Антон решил не заканчивать фразы. О некоторых предметах он предпочитал не думать, даже когда они касались близких ему людей.

— Блефует не насчет возраста, — нетерпеливо ответила Плюри, — а насчет того, что собирается сделать.

— С Грейтаном?

— Со всеми нами.

— Мы не в ответе за то, что произошло. Откуда нам было знать, сколько лет Беатрис и чем занимается с ней Грейтан?

— Я знала.

— Знала, сколько ей лет?

— Я не спрашивала Беатрис о возрасте и вряд ли стала бы вмешиваться, даже если бы выяснила правду. Свой первый роман с женатым мужчиной я завела, когда мне было двенадцать.

— Но тогда…

— Я понимала, что они спят вместе. Выделила им комнату.

— Это не преступление.

— Если я знала о ее возрасте, то преступление.

— Ты только что сказала, что не знала.

— А вдруг мне придется это доказывать? Я не хочу, чтобы сюда нагрянула полиция — по многим причинам. Ты, я думаю, тоже.

— Мне нечего скрывать.

— Ты привел ее сюда, чтобы удовлетворить аппетит Грейтана к еврейкам. Тогда эта мысль казалась тебе забавной. Мне тоже.

— Забавной, но не более того. Я не ожидал, что у них начнется бурный роман…

— А какого ожидал? Вялого? Вряд ли это тебе

поможет. Особенно когда выяснится, что ты нашел девушку в той самой академии, где читаешь лекции.

При слове «лекции» д'Антон поморщился.

— Ни одного правила Академии я не нарушил. Я не искал девушку ради своего удовольствия. Я вообще ее не искал. Просто увидел, вот и все. Неприметной ее уж точно не назовешь.

— А это тут при чем? В суде никого не заинтересует, нарушал ты правила Академии или нет, ради чьего удовольствия подснял девушку и насколько неприметно она выглядит.

— Подснял!

— Очнись, д'Антон! Со стороны именно так все и выглядит. Нам будет не отмыться. Чем непристойнее обвинение, тем с большей готовностью в него поверят. Возможно, ты выше этого, а я вот нет. Что будет с моей репутацией, что будет с моим шоу, что будет со «Старой колокольней», если поползут слухи, будто я содержу публичный дом для педофилов?

— Ой, не преувеличивай!

— А что будет с твоим добрым именем, если поползут слухи, будто ты мне помогал? Нас станут обзывать сутенерами. Страна готова к охоте на ведьм. За каждым углом, твердит пресса, пря-

чется извращенец. Скажут, что мы занимались растлением несовершеннолетних девушек. Карьере Грейтана конец. Тебя закидают камнями в соцсетях. А Барни скорее всего меня бросит.

— Что же ты предлагаешь?

— Грейтан должен вернуться. Он тебя слушает: вели ему приехать.

— А дальше что?

— Пусть готовится к худшему.

— А вдруг его ждет три года тюрьмы? Зачем ему приезжать?

— Чтобы нам помочь, например. Чтобы отблагодарить меня за доброту, а тебя за все, чем он тебе обязан. В конце концов, именно из-за него мы влипли в историю. И потом, если Грейтан вернется, то этот монстр, возможно, не станет подавать в суд.

— Думаешь, еврей все забудет и простит? Он не из таких, Плюри.

Плюри задумалась. Глаза и губы у нее опухли больше обыкновенного, взгляд был затравленный, а все лицо напоминало маску то ли из древней трагедии, то ли из древней комедии, перекошенную и страдальческую. Плюри взяла д'Антона за рукав.

— Возможно, и забудет — если Грейтан согла-

сится на его требования и сделает то, чего он хочет.

— О чем ты?

Она рассеянно изобразила средним и указательным пальцем щелкающие ножницы. Если бы Плюри видела, как то же самое делает Шейлок, она и тогда не смогла бы повторить его жест более точно.

— Щелк-щелк, — сказала она.

XXI

Ответ на эсэмэс д'Антона, в котором Грейтану предлагалось вернуться домой и понести наказание за содеянное, был незамедлителен и краток: «Хрен вам».

Д'Антон написал, что не годится так разговаривать с человеком, который всегда желал ему только добра.

Грейтан возразил, что даже у дружбы есть свои пределы.

Д'Антон спросил, как относится к возвращению Беатрис.

Ответное эсэмэс Грейтана было написано в том же стиле, что и первое: «Ну ее на хрен. Я не спрашивал».

Д'Антон поинтересовался, почему.

«Достала».

«В чем же причина?»

«Все время разговаривает со мной на иностранном языке».

«На каком?»

«Откуда я знаю? Он же иностранный! На еврейском, наверное».

«Можешь ты, по крайней мере, отправить ее домой?»

«Виг фам, — пришел ответ. — Секс слишком классный. Единственное время, когда она затыкается».

Из чего д'Антон сделал вывод, что Грейтан вряд ли пожелает пройти обращение — вернее, обрезание — в иудейскую веру.

* * *

— Ну и что же нам теперь делать? — спросила Плюри, сидя в одном из баров Манчестера вместе с д'Антоном и Барни. Друзья не хотели, чтобы их разговор услышали в Золотом треугольнике. В этом же заведении слова «обрезание» все равно никто бы не понял.

— Проверить, посмеет ли еврей выполнить свою угрозу, — предложил д'Антон.

— Вряд ли это сработает, — подал голос Барнаби, не меньше остальных удивленный собственным вмешательством.

Обычно во время военных советов Барнаби предоставлял говорить д'Антону с Плюри. Его роль заключалась в том, чтобы воодушевлять друзей одним своим присутствием. Однако на сей раз опасность грозила не только их, но и его

доброму имени. Если «Старая колокольня» — бордель, кто же в таком случае он сам? Мысль о том, что проступок сойдет Грейтану с рук, тоже не грела Барнаби душу, хотя он довольно смутно представлял всю серьезность содеянного. Грейтан что-то натворил и теперь прохлаждается в Венеции, а он, Барнаби, не сделал ничего плохого, однако вынужден сидеть в Чешире и терпеть неприятную ситуацию.

Кроме того, д'Антон сильно его подвел.

— Скоро тебе вернут кольцо, мой подарок? — спросила Плюри, едва они сели за столик. — Поклялся не снимать до самой смерти, а сам не носишь уже целую неделю.

Барнаби многозначительно посмотрел на д'Антона. Они все давно отрепетировали: д'Антон должен был взглянуть на свою левую руку, на которую, забрав кольцо у полировщика, надел его для пущей надежности, и с великолепно разыгранным ужасом обнаружить, что оно исчезло, бог его знает, как и куда — соскользнуло, наверное, и закатилось в канаву или же под колеса автобуса, потому что пальцы у д'Антона тоньше, чем у Барнаби. «Лучше бы мне отсечь себе левую руку, чем оказаться виновным в этой потере!» — восклицал далее по сценарию д'Ан-

тон, после чего, посреди обещаний возместить убытки, нескончаемых извинений, слез Барнаби и тому подобного, Плюри обнимала их обоих и говорила, что та несокрушимая любовь, которую они друг к другу питают и, смеет она надеется, всегда будут питать, стоит гораздо больше какой-то безделушки. Однако д'Антон, поглощенный мыслями о Грейтане, забыл текст роли, уставился в пустоту и с совершенно несвойственным ему нетерпением сначала прикрикнул на Барнаби, чтобы зря не тратил время, а затем сверкнул глазами на Плюри, чтобы не делала из мухи слона.

— С тобой я разберусь позже, — сказала Плюри Барнаби.

Сейчас картина пригодилась бы ему как никогда.

На д'Антона она только сверкнула глазами.

«Уж не соревнуемся ли мы за это кольцо?» — спросила себя Плюрабель. Пришедший на ум ответ не слишком ее порадовал.

Вот так их утонченный мир взаимности и обходительности, часто неспокойный, но всегда искупаемый грустью, начал прогибаться под давлением дурного настроения. Поэтому Барнаби, который по любой версии событий был их единственной невинной жертвой, и решил

высказаться.

— Насколько я понимаю, — продолжил он, — еврей не отступится. Никогда не слышал, чтобы евреи отступались. Вроде как они теряют лицо, если идут на попятный. Религия им не позволяет. Мой отец знал много евреев и говорил то же самое. У них сердца из камня. Попробуйте встать на пляже и приказать прибою отхлынуть — с тем же успехом можно уговаривать еврея передумать. Поэтому если Грейтан отказывается приехать и за все ответить, нам не остается ничего другого, как его подменить. Только так мы утолим еврейскую жажду крови.

Удивленная обширными познаниями Барни о евреях и их верованиях, Плюри тем не менее осталась в недоумении.

— Подманить Грейтана — это я понимаю, — сказала она. — Но «подменить» Грейтана?..

Эти двое начинают мне надоедать, подумала Плюри. Пожалуй, мужчины вообще начинали ей надоедать. Надо было самой сбежать с Беатрис.

— Найти заменитель или что-то вроде того, — ответил Барни.

— Заменитель чего? — спросил д'Антон.

— Грейтана. Заменитель Грейтана в глазах еврея.

— Объясни подробнее, — попросила Плюри. — Не торопись.

Барнаби не понимал, куда уж яснее и подробнее.

— Нам нужен кто-нибудь, способный заменить Грейтана. Дублер. Козел отпущения — так, кажется, это называется? Человек, с которым еврей сможет сделать то же самое.

— В смысле, кого он сможет обрезать?

Д'Антон не смог бы сказать, кто задал этот вопрос: он или Плюри. Плюри тоже, настолько синхронным было их изумление.

— Да, — ответил Барнаби. — Он ведь именно этого хочет?

— Милый, — заговорила Плюри, — ему не нужен первый попавшийся старичок, которого можно обрезать просто забавы ради. Он хочет обрезать Грейтана, чтобы сделать из него мужа-еврея для Беатрис.

— Или чтобы отпугнуть, — добавил д'Антон.

— Знаю. Я не настолько глуп, как вам кажется. Однако теперь, что бы ни решила Беатрис, это уже вопрос чести, верно? Еврею не крайняя плоть нужна — кому она вообще нужна, тем более от Грейтана? — он просто пошел на принцип. Ему все равно, как и от кого получить удовлетворе-

ние. Евреи не слишком щепетильны в вопросе, кто именно выплачивает долг. Дайте ему то, чего он хочет, и, готов поспорить, больше мы о нем никогда не услышим. А раз нельзя отдать еврею Грейтана… нужно отдать кого-нибудь другого.

Повисла тишина. Даже в баре, казалось, все смолкло.

— Я ради вас на все готов, — продолжил Барнаби, — но сам вызваться не могу. Мне плохо при одной мысли о крови.

— А поскольку я не подхожу по половому признаку… — начала Плюри.

— Остаюсь только я, — закончил д'Антон.

* * *

Вам следует больше времени проводить в темноте, говорил д'Антон студентам, которые приходили послушать, как он размышляет вслух. Это были не совсем лекции, но и не уроки; ему бы хотелось, чтобы от студентов его отделяло большее расстояние, чем предполагает слово «урок». В чрезмерно освещенном мире жить вредно, продолжал д'Антон. Не сочтите меня моралистом или ретроградом, если я скажу, что вы слишком много времени проводите перед всевозможными экранами. Меня волнует лишь ваше эстетическое

здоровье. Свет необходимо ценить, как ценили его великие художники — Леонардо, Караваджо, — и видеть в нем то, что проясняет значение, помогает отличать обыденную тьму от того сияния, которое приходит благодаря пониманию и способности различать. Если все вокруг — свет, человек теряет ощущение красоты и объема.

Слушают ли они вообще?

Одна студентка, по крайней мере, слушала.

— Говоря о светотени, вы не упомянули Рембрандта, — начала она, поднимая руку. — Вам не кажется, что для Рембрандта, возможно, больше, чем для любого другого художника, свет служил некой формой психоанализа?

Студенткой этой была Беатрис. Обращая взгляд в полумрак прошлого, д'Антон ясно видел ее перед собой: золотые браслеты подрагивают на запястье, словно она подняла руку, чтобы встряхнуть бубном, а собственная природная темнота молодой еврейки озарена светом того психоанализа — назовем его совестью, — которому собирался подвергнуть себя д'Антон. Не в тот ли момент он решил сделать ее игрушкой для Грейтана? Не выполняла ли она роль Сусанны с великой картины Рембрандта, а сам он — более нахального из старцев? Д'Антон не находил в

себе похотливых желаний, которым отвечала бы подобная сцена, но, видимо, хорошо представлял, что такая девушка может возбудить похотливые желания в другом мужчине, иначе почему остановил свой выбор именно на ней? Не значит ли это, что он соучастник, сообщник — «сутенер» назвала его Плюри — в чужом вожделении?

Сколько же раз за последние дни он закидывал леску с крючком в собственную душу и вытягивал на поверхность слово «сводник»?

Д'Антон сидел в темноте — в той темноте, что всегда излучал как муж скорбей, и в более прозаической темноте, которую мог рассеять щелчком выключателя, — и думал.

Ему бы хотелось, чтобы веки его были сделаны из более плотной и менее прозрачной материи. Д'Антон читал, что лишь крайняя плоть и малые половые губы образованы более тонкой кожицей, чем веки, однако знание это не приносило утешения.

Свет, который проникал к д'Антону, как ни старался он от него отгородиться, был фиолетового цвета — цвета аметиста. Именно поэтому д'Антон редко покупал пресс-папье и миниатюры с аметистами: камень казался ему слишком ярким, а испускаемый им свет слишком резал

глаза. Аметистовый — цвет его неврастении, цвет того, что оскорбляет вкус, цвет антипатии. В том числе антипатии к Струловичу. Д'Антон не смог бы сказать, что в данном случае первично — антипатия или аметист. Быть может, во внешности Струловича есть нечто аметистовое? Нечто от фиолетовой твердости минерала в оттенке кожи? Или же это его голос раздражает болезненно натянутые нервы д'Антона своей избыточной яркостью? Легче было бы объяснить, какие душевные качества ненавистны ему в Струловиче. Д'Антон не мог снести, что Струлович покупает и продает произведения искусства, хотя сам тоже покупал их и продавал. Однако д'Антоном двигала любовь: он *любил* то, чем торговал. Струлович любил искусство постольку поскольку, если вообще любил: для него главный восторг составлял финальный бухгалтерский отчет. Д'Антон судил об этом не по каким-то высказываниям Струловича и не по тому, что слышал о его привычках ценителя и покупателя. Дело в другом: Струлович не столь утончен. Жизнь не причиняет ему такую же боль. Ему не достает мучительности. Красота не пронзает его насквозь. Если бы вся красота в мире внезапно исчезла, изменилось бы что-нибудь в поведении Струловича? Д'Антон не мог

представить себе иного существования, кроме изощренной эмоциональной пытки. Если бы вся красота ушла из мира, он бы вернул ее к жизни одной силой своих чувств. А Струлович?.. Нет, Струлович ничего бы не заметил. Он слишком поглощен материальностью. А все материальное имеет для д'Антона аметистовый цвет.

В том числе Беатрис. Волосы — россыпь пурпура, взгляд — блеск тутовых ягод, слова — сливы в сиропе.

Не это ли нравится Грейтану? Ее насыщенное, пульсирующее присутствие, навязчивая осязаемость?

Должно быть, да.

Но откуда он так хорошо осведомлен о том, что нравится Грейтану?

Д'Антон считал себя ценителем мелочей — портретных миниатюр, пресс-папье со слезами внутри, уколов совести. Аскетичный по природе, он был жаден, как бывают жадны только тщеславные люди, жаден к элегантному самоистязанию. Д'Антон мысленно наказывал себя за то, что слишком богат, хорошо образован, обладает изысканным вкусом и разнообразными дарованиями. К нему обращались за помощью, а он не всегда давал то, чего от него ожидали,

или же давал слишком много. В аметистовой темноте воспаленного эгоизма д'Антон вел счет своим недостаткам, один из которых мог служить отражением всем остальным — слишком большая вовлеченность в душевные недуги тех, кого он любил. Можно ли назвать недугом слабость Грейтана к еврейкам? Как ни назови, д'Антон ей потакал. Раздувал. Подкармливал. Но что, если в то же время он раздувал в самом себе некий схожий недуг? Не питал ли и он, за пурпурными сосудами закрытых век, слабость к еврейской окраске? Быть может, он испытывает к Струловичу не столько антипатию, сколько извращенное уважение?

Слово «желание» д'Антон употреблять отказывался. Во всем надо знать меру. «Уважения» — более чем достаточно. Но если д'Антон носит в душе некое потаенное, греховное, неосознанное уважение, значит, он оказал бедному Грейтану плохую услугу — подтолкнул туда, куда сам мечтал, но не смел отправиться. Я обязан как-то искупить свою вину перед ним, подумал д'Антон, содрогаясь от невыносимой муки, на которую считал не способным Струловича.

В школе д'Антону нравилось читать жития христианских святых. Многие иллюстрации

он вырывал и развешивал по стенам спальни. Одним из его любимых персонажей был изжаренный на решетке святой Лаврентий. Д'Антон мог без труда воскресить в памяти знаменитую картину Тинторетто: свет озаряет страдания святого, а из темноты тянутся к нему жестокие палачи, тыча рогатинами в истерзанное тело. По легенде, святой Лаврентий велел своим мучителям, раз уж они все равно решили его зажарить, зажарить хотя бы как следует. «Вот, вы испекли одну сторону, — сказал он, — поверните на другую».

Д'Антон любил мучения. Значит ли это, что он любил и своих мучителей?

Ему представилось, как он молит Струловича:

«Поверни же меня другой стороной…»

* * *

— Ты правда готов пойти на это ради нас? — спросила Плюрабель.

Д'Антон смежил веки. Иногда слова излишни.

— Ты святой, — объявила она.

Он покачал головой, по-прежнему не открывая глаз.

Сидя вместе в маленькой гостиной, несущей на себе отпечаток скорее его, чем ее вкуса — по мнению д'Антона, у Плюрабель вкуса не было во-

обще, — они подобрали слова, предназначенные умилостивить демона, который грозил уничтожить их идиллию.

Плюрабель спросила, не следует ли заверить послание у мирового судьи. Д'Антон счел, что не следует. Записки на именной бумаге вполне достаточно. Струлович как никто знает, что суровая неподкупность д'Антона не подлежит сомнению.

«Настоящим обязуюсь предоставить компенсацию за причиненный вам ущерб, — писал д'Антон. — Готов выступить гарантом того, что Грейтан вернется в течение двух недель».

Плюри настаивала на неделе, д'Антон — на месяце. Сошлись на двух неделях.

«Если же он не вернется в указанный срок, чтобы принять наказание, взыщите с меня то, что хотели взыскать с него. Я не прошу для Грейтана иного послабления и смею надеяться, что на этом инцидент будет исчерпан».

И д'Антон поставил подпись с росчерком, уже знакомую Струловичу.

Ему хотелось бы включить в договор и «Первый урок любви»: «Я не прошу о послаблении, но буду благодарен, если в нагрузку вы пришлете картину мистера Соломона». Однако Плюри следовало держать в неведении.

Д'Антон вздохнул. Как же он устал принимать участие в чужих любовных делах! Лучше бы ему никогда никого и ни с кем не знакомить. Цена за дружбу в последнее время слишком высока.

— Ты настоящий святой, — повторила Плюри, когда он показал ей письмо. — Хотя ни один из тех святых, о которых мне рассказывали в школе, не обладал твоим чувством слова.

Честность или, быть может, просто нетерпение заставило д'Антона отмахнуться от похвалы.

— Если бы ты знала все, ты бы так не говорила.

Плюри была заинтригована.

— Расскажи!

Д'Антон заглянул в ее взволнованные глаза.

— Могу я рассчитывать, что ты сохранишь это в тайне?

— Клянусь нашей дружбой. Клянусь священной грустью, которая нас связывает.

— Ни слова. Ни одной живой душе — даже Барни.

— Ни полслова — даже ему.

Точно любовник, д'Антон притянул к себе Плюрабель и прошептал ей на ухо безумные слова.

То, что сделала затем Плюри, потрясло бы любого, кто хорошо ее знал. Она откинула голову назад и расхохоталась. Откровение д'Антона едва

не исцелило ее от вечной грусти.

— Только представь, — с трудом проговорила она, задыхаясь от непривычного веселья, — какое лицо будет у этого кровопийцы!

— Ты про еврея?

— Про жида, про кого же еще?

— Должно быть, ты имеешь в виду израильтянина?

— Ну да, христоубийцу. Крючконосого.

— Перестань, Плюри! — рассмеялся д'Антон.

Уже много месяцев не слышали в «Утопии» такого веселья.

Поскольку Плюрабель хотела знать наверняка, что письмо получено, а кроме того сознавала, что виновата ничуть не меньше самого д'Антона, мечтала увидеть дьявола собственными глазами и затевала кое-что от себя, она решила доставить записку собственноручно. Короткое расстояние до дома Струловича — Плюрабель сама удивилась, что они живут так близко друг от друга — она преодолела на «Воксхолле» своего домоправителя. Плюри не смогла бы объяснить, почему не пожелала взять «Порше» или хотя бы «Фольксваген»-«жук», однако вид «Мерседеса» на подъездной дорожке ее почему-то раздосадовал.

Когда Струлович открыл дверь, Плюрабель

содрогнулась. От прикосновения руки, которой он взял поданное письмо, ее собственная рука едва не окоченела. Еще одна неожиданность. Она-то готовилась к кострам преисподней. В ее воображении Струлович рисовался человеком с темным, как у дьявола, лицом и шелушащимися ладонями. Плюрабель никак не ожидала, что на нее дохнет таким холодом. Понятно, почему бедняжка Беатрис сбежала, подумала она. Я правильно сделала, что приютила ее и отогрела, и правильно делаю, что оказываю ей поддержку. Да поможет нам Бог.

В одном Плюри заблуждалась. Человек, которому она подала жертвенное послание д'Антона, был не Струлович.

Это был Шейлок.

XXII

Хотя Струлович привык, что днем Беатрис пропадает в Академии, а ночью — неизвестно где, ему начинало ее не хватать. Да, они ругались всякий раз, как оказывались в одном помещении, но ведь ссоры — тоже проявление любви, не так ли? Насколько он помнил, ссорились они всегда, однако с тех пор, как у Кей случился инсульт, война, служившая проявлением любви, разгорелась с новой силой. Поэтому Струлович был вынужден задать себе деликатный вопрос: не заменила ли в некотором смысле дочь ему жену?

Вероятно, он ответил утвердительно, потому что с того дня, как сбежала Беатрис, стал больше времени проводить с Кей. Одиночество? Или чувство вины? Струлович допускал и то, и другое. Впрочем, он всегда допускал и то, и другое, именно поэтому его еврейство то вспыхивало, то затухало. Еврейство значило для него все, за исключением тех моментов, когда не значило ничего. Такова главная слабость еврейского ума — если, конечно, это не сила. Что касается Кей, Струлович испытывал по отношению к ней все

чувства, которые только можно испытывать, хотя порой думал, будто не чувствует ничего. В том, чтобы ничего не чувствовать, есть свое преимущество: так легче жить и помогать жить Беатрис. Но если с Беатрис он потерпел неудачу, значит, не воспользовался половиной тех возможностей, которые предоставляло отсутствие чувств к жене. А поскольку с Беатрис он, похоже, действительно потерпел неудачу, следует вернуть Кей то, что ей причитается.

Наведавшись к д'Антону и выставив ему ультиматум, Струлович вернулся домой и сразу пошел наверх, чтобы посидеть с Кей. Он вел себя так, словно ей не терпелось услышать о последних событиях. Струлович глубоко вздохнул, как бы говоря: «Погоди минутку — дай перевести дух».

— Придется подождать и посмотреть, что это даст, — наконец объявил он.

Хотя врачи опасались за легкие жены, окна в ее комнате оставались открытыми в любую погоду. Если одна сиделка закрывала рамы, Кей давала другой понять, что их нужно открыть. Рассказав жене новости, Струлович молча сидел и глядел на трепещущие занавески, словно кроме них в этой комнате ничто не представляло для него интереса. Струлович рассеянно взял жену за руку и

с удивлением ощутил легкое пожатие. Он отвернулся от окна и посмотрел на нее. Неужели она понимает? Чувствует его беспокойство? Знает, что Беатрис убежала?

— Все хорошо, любимая?

Странно: слезы на глаза Струловичу навернулись не от того, что он заметил некое ответное движение или перемену в безжизненном взгляде Кей, а от собственных слов. Неужели он плачет о самом себе?

Струлович обесточил чувства, отсоединил от Кей весь свой механизм памяти и любви, иначе не смог бы функционировать, а какой смысл становиться таким же, как она? Если бы Струлович позволил себе помнить, за что любил жену, он бы каждое утро приходил к ней в комнату, обнимал ее колени и рыдал до наступления темноты. Помнить — значит умереть. Если хочешь жить, надо забыть.

Но Струлович назвал ее «любимая», и на мгновение она вновь стала его любимой. Ему даже удалось себя убедить, что и он опять ее любимый.

А если это правда — если где-то в глубине ее существа так же слабо, как солнечно-желтые занавески на окне, шевелится воспоминание о том,

что она когда-то к нему чувствовала, — стоит ли этому радоваться? Есть ли польза от того, чтобы тревожить ее похороненные воспоминания? Или Кей тоже плакала бы от горя, если бы могла?

Струлович сильнее сжал ее руку. Он не имел права так рисковать, играя ее чувствами, но все же рискнул.

— Ты сегодня прекрасно выглядишь, любовь моя, — сказал он и поцеловал ее в лоб.

Ответного пожатия не последовало. Если Кей действительно испытала то же, что и он, то уже справилась со своими чувствами — обесточила сама себя, потому что иначе не смогла бы всего этого вынести.

— Да, — повторил он, — подождем и посмотрим, к чему приведет мой визит.

Струлович сидел с опущенной головой, а холодный воздух щипал ему щеки. Он в долгу перед женщиной, чью безжизненную руку держит в своей. Она подарила ему счастье. Подарила дочь. Помогла примириться с отцом и наладить отношения с матерью. Еще два человека, перед которыми он в долгу. Больше года прошло со смерти матери, и что же он сделал, чтобы почтить ее память? Идею открыть музей имени родителей забросил. Даже толком не оказал д'Антону

сопротивления. Вечно он так — то вспыхивает, то затухает: и как отец, и как сын, и как муж, и как защитник веры. Чем больше Струлович себя терзал, тем сильнее ожесточался против д'Антона. Казалось бы, куда сильнее? Однако душа всегда может ожесточиться еще сильнее.

Д'Антон, антисемит, который похитил у него дочь, помешал выразить любовь к родителям и нес ответственность — косвенным образом, как соучастник, силой испытанного задним числом злорадства, наконец, просто потому, что такие, как он, существуют, — за то, что случилось с Кей.

— Если бы я мог, я бы его убил.

Во взгляде жены ему почудилась тревога. Кажется, она слегка покачала головой. «Не надо, Струло!»

О, если б только это было правдой…

— Не стану, раз ты так считаешь.

При мысли о том, что своей жизнью д'Антон обязан Кей, Струловичу еще сильнее захотелось его убить.

* * *

Переданная Шейлоком записка вызвала у Струловича чувство гадливости. И как это у д'Антона получается умолять и в то же время не умолять?

Какой силой превращает он приниженную просьбу в оскорбление?

— Если бы я мог, я бы его уничтожил, — сказал Струлович. — По крайней мере, я пролью его кровь.

Шейлок покачал головой.

— Я бы на вашем месте действовал осторожно. То, что предлагает д'Антон, не вернет вашу дочь и не воздаст футболисту за причиненный ей вред.

— А как же вред, причиненный мне?

Шейлок отвел глаза, словно не хотел обжечь Струловича полыхающим в них пламенем.

— Боюсь, вы выдвигаете себя на первый план. Воспринимаете дело как слишком личное.

— Слишком личное? А что такое, по-вашему, слишком личное?

— Убить д'Антона — это слишком личное.

— Для него — возможно. Не для меня.

— Но конфликт у вас с футболистом.

— С этим клоуном? К нему я не испытываю ничего, кроме легкого презрения.

— Несмотря на то, что он растлил вашу дочь?

— Я знаю Беатрис. Она вполне способна обольстить мужчину. Если Хаусом заявит в суде, что думал, будто ей двадцать шесть, ему скорее всего поверят.

— Похвальная терпимость. Тогда зачем настаивать на его возвращении? Если вы готовы принять то, что произошло год назад, когда это было незаконно, почему не можете принять сейчас, когда закон не имеет ничего против?

— Беатрис все еще ребенок.

— По факту, но не по внешнему виду. И уж точно не по поведению.

— А Грейтан все еще гой. Не вы ли говорили, что лучше бы Джессике достался муж из племени Варравы, чем христианин?

— Не надо цитировать меня вне контекста. Эти христианские мужья готовы были избавиться от своих жен, лишь бы вырвать Антонио из моих когтей. Каждый отец хочет, чтобы его дочь вышла за человека, способного ценить ее больше своих друзей. Нежелательными мужьями христиан делала в первую очередь верность, в которой они клялись друг другу, а не иконы, которым молились в церкви. В любом случае…

— В любом случае что?

— Хотя жалеть о прошлом для меня так же бессмысленно, как смотреть в будущее, порой я спрашиваю себя, не лучше ли было позволить Джессике выйти за христианина, чем совсем ее потерять.

— Вот и думайте. В моем случае обстоятельства сложились так, что я и дочь потерял, и выбор ее не одобряю.

— Все могло бы измениться, если бы вы подали знак, что сами изменились.

— Если бы я принял их с распростертыми объятиями? Это вы хотите сказать?

— Необязательно раскрывать объятия — достаточно просто пожать руку.

— И что же будет означать это рукопожатие? Что Грейтан прощен? Что я люблю его? Что он может сохранить свою крайнюю плоть?

— Допускаю, что крайней плотью придется пожертвовать вам, а не ему.

— Вы отказываете мне в удовольствии довести шутку до конца?

— Я ни в чем вам не отказываю. Отказывает сожитель вашей дочери. Дочь вам отказывает. Общественное мнение вам отказывает.

— Вы забываете о письме д'Антона.

— Как обрезание д'Антона послужит вашей цели?

— Оно послужит моей шутке.

— Тогда в ней не останется ничего от шутки.

— Загляните в собственное сердце и узнаете, что творится в моем. У меня тоже черное чувство

юмора. Так мне говорила первая жена. Вторая нашла способ сказать нечто подобное.

— Обрезание д'Антона лишено смысла и не сулит никакой выгоды.

— Возможно, до дела не дойдет. Возможно, он испугается и вернет мне Грейтана.

— А если не вернет?

— Тогда я получу удовлетворение.

— Именно этого они от вас и ожидают.

— Значит, я сделаю то, чего от меня ожидают, и сделаю с радостью. Их ожидания не испортят мне удовольствие.

— Повторяю: вы воспринимаете дело как слишком личное.

— Неужели я должен отказаться от удовлетворения?

— Если речь только об удовлетворении, то да.

— Хорошо, перефразирую: неужели я должен отказаться от своего векселя?

Что же, все прошло не так уж плохо, подумал Шейлок.

* * *

— Когда бы дело это совершив, могли б мы тотчас про него забыть, тогда нам нужно это сделать

у меня[66], — сказала Плюрабель, подав Шейлоку письмо.

Дома она отрепетировала фразу перед зеркалом, зная, что Струлович страстный поклонник Шекспира, и надеясь таким способом добиться его согласия, а быть может, даже восхищения. Когда пришло время произнести заготовленную реплику, Плюрабель уже догадалась, что перед ней не Струлович, но не пропадать же цитате. С кем именно она разговаривает, Плюри не знала, однако суровый и враждебный вид Шейлока показывал, что человек этот уполномочен решать любые возникающие проблемы и посвящен в частные дела Струловича. Судя по костюму — адвокат, вполне возможно, специально приглашенный в связи с тем самым делом, которое ее сюда привело.

— А разве у вас без того сделано недостаточно? — спросил Шейлок.

Да, адвокат, полностью осведомленный о том вопросе, по которому она приехала. Плюрабель

---

[66] Примечания: 66

Слегка измененная цитата из пьесы У. Шекспира «Макбет»:

Когда бы дело это совершив,
Могли б мы тотчас про него забыть,
Тогда нам нужно это сделать поскорей.

(Акт I, сцена 1. Перевод В. Раппопорта.)

давно не бывала в таком хорошем настроении, как последние несколько часов, однако теперь ее обдало холодом. Если Струлович нанял адвоката и ввел его в курс дела, значит, правовому процессу, призванному впутать ее в скандал и превратить мечту об утопии в ночной кошмар, положено начало.

Плюрабель не зря потратила на свои губы целое состояние. Она послала Шейлоку самую хищную улыбку а-ля венерина мухоловка, которая имелась у нее в коллекции. Может, в суде он и зверь, но пусть трепещет, когда перед ним такая плотоядная красавица.

Как бы ни выглядела Плюри снаружи, внутри у нее царило полнейшее смятение.

В ее груди боролось два противоречивых стремления. А) Сохранить все в строжайшей тайне. Б) Придать делу столько огласки, сколько позволят заинтересованные стороны. Плюрабель была персоной в высшей степени скрытной и в то же время в высшей степени публичной. Нескромность никогда не вменялась мне в вину, подумала она; зрители восхищаются моей открытостью и сочувствуют моим бедам. В пользу конфиденциальности говорил трюизм «Слово — серебро, а молчание — золото». В пользу огласки — воз-

можность прилюдно опозорить Струловича. Как этого достичь, Плюрабель представляла пока не вполне, однако не сомневалась, что в любых публичных дебатах он выставит себя не лучшим образом и попутно дискредитирует собственные показания. Разве можно винить Беатрис или тех, кто ей помогал, если она сбежала от такого отца и пыталась найти утешение в объятиях человека, который, разумеется, далеко не идеален, но, по крайней мере, ее любит? Плюрабель не была уверена, какой эффект вызовет поведанная д'Антоном тайна — опозорит Струловича еще больше или же просто выставит его дураком; и тот, и другой исход ее устраивал.

А что же д'Антон? На какой стороне выступал он в споре между секретностью и оглаской? Плюрабель не стала выяснять его мнение. Он и сам не знает, решила она. Если бы Плюрабель спросила, он наверняка бы ответил: «Чем меньше шума, тем лучше», но когда дело будет сделано, а Струлович посрамлен, д'Антон, несомненно, останется ею доволен. Иногда человек сам не понимает, в чем его благо.

Однако пока между Плюрабель и исполнением ее замысла стоял суровый представитель закона, оставшийся равнодушным к чарам ее роскош-

ных губ.

— Не поймите меня неправильно, — сказала Плюрабель. — Не следует воспринимать мое предложение возместить причиненный ущерб как признание вины. Я хотела стать Беатрис другом. Дома она явно была несчастлива. Я понятия не имела, что под моим кровом девушка вступила в нежелательную связь, иначе не допустила бы ничего подобного. Мой близкий друг и советник д'Антон разделяет эти чувства, именно поэтому он мужественно соглашается на требования вашего клиента.

— Я знакомый мистера Струловича, — ответил Шейлок. — Я не работаю на него и не представляю его интересы.

— В таком случае могу я поговорить с ним лично?

— Мистера Струловича нет дома. Можете поговорить со мной. Он видит во мне свою совесть.

Плюрабель была слишком благоразумна, чтобы воскликнуть: «Совесть?! Да разве у этого человека есть совесть?» Вместо этого она сказала:

— В таком случае вы согласитесь: то, чего он просит, переходит все границы. Это причинение телесного и душевного вреда моему дорогому другу д'Антону — никак не меньше. По-моему,

мистер Струлович хочет публично его унизить, а потому, чтобы удовлетворить столь странное желание, я готова, если дойдет до дела, провести мероприятие у себя в саду.

— Мероприятие?

— Насколько я понимаю, мистер Струлович и сам предпочел бы, чтобы предложенный им шаг не остался незамеченным. Если он готов вступить в дебаты о правомерности того, чего требует, с тем, у кого требует, я готова снять их диспут и показать его в своем телешоу…

— Вы ведете шоу?

Плюрабель пришла в замешательство. Она и не подозревала, что кто-то может не знать о ее телешоу. Если этот человек ничего о нем не слышал, значит, перед ней действительно непреступная и высокопоставленная личность.

— «Кулинарный советник», — сказала она.

— Кулинарная передача?

— Да, но не только…

Шейлок поднял руку, не дав ей возможности объяснить, какая еще.

— Мистер Струлович, как мне доподлинно известно, не считает себя участником спора, не видит оснований для ответных претензий, а потому вряд ли захочет привлекать телевидение.

Да и друг ваш тоже. Обрезание — не кулинарное представление.

Плюрабель осенило. «Перебранка». Старый интерактивный чат давно заглох, но его всегда можно воскресить через одну из тех социальных сетей, с которыми ее связывают профессиональные отношения. Введя Шейлока в курс дела, она поинтересовалась, не понравится ли мистеру Струловичу такая идея.

— С некоторой уверенностью могу заявить только одно: мистеру Струловичу вряд ли понравится, что его требование возместить ущерб приравнивают к перебранке.

— Я понимаю, — поспешно вставила Плюрабель, — и ни в коем случае не хочу приуменьшать нанесенный ему ущерб. Как раз наоборот. Поэтому и предлагаю сделать из этой истории событие.

— Вы что, намерены устроить вечеринку?

— Если дойдет до дела, если Грейтан не вернется с Беатрис, — а все мы, естественно, горячо надеемся, что он вернется, — то да, я готова сделать настолько много или же настолько мало, насколько сочтет уместным мистер Струлович. Просто хочу, чтобы все прошло самым приятным для обеих сторон образом. Если мистер Струлович

имеет что-либо против моего дома и предпочел бы не переступать его порог…

— Почему бы ему не переступать порог вашего дома?

На мгновение Плюрабель смутилась.

— Ну, понимаете…

— Потому что он служил гнездом разврата?

— Вы на меня клевещите.

— В таком случае вам нечего опасаться.

— Мне и так нечего опасаться.

— Очень уж вы торопитесь довести дело до конца. По-моему, ваша поспешность свидетельствует о виновности. Однако продолжайте. Если мистер Струлович предпочитает не переступать порог вашего дома…

— Я разобью в саду шатер.

— Думаете, мистер Струлович проводит различие между вашим домом и вашим садом?

— Я не знаю, что он проводит, а чего нет. Просто пытаюсь быть любезной.

— А канапе будут?

— Если он предпочитает канапе, то да.

— Я по-прежнему не понимаю, почему вы так стремитесь предать огласке то, что сами же назвали унизительным для своего друга.

— Потому что хочу показать, насколько глубоко

сожалею о случившемся.

— Ваш дух высокий радует меня[67], — произнес Шейлок, отводя глаза.

Плюрабель, умевшая определить, когда ей делают комплимент, слегка наморщила губы. А приятель Струловича не лишен своеобразного сурового обаяния, подумала она. Его обаяние не походит на обаяние д'Антона или Барни. Перед ней стоял мужчина совсем иного сорта — холодно неприступный и, если уж на то пошло, отталкивающий, нелюбезный и даже высокомерный, однако Плюрабель была по горло сыта доступно-привлекательными мужчинами — похожими на сказочных принцев поклонниками, которые выстраиваются в очередь, чтобы угадывать каждое твое желание и всячески угождать. С этим мужчиной ей самой придется угадывать. Эротического влечения она к нему не испытывала — слишком стар. Но если рассматривать его в качестве отца, — а Плюрабель никогда не была особо высокого мнения о том отце, которого дала ей природа, — то да, она готова вновь почувствовать себя маленькой девочкой, старающейся завоевать его любовь.

---

[67] Примечания: 67

Фраза, которую произносит Макбет, обращаясь к наемным убийцам. У. Шекспир, «Макбет». Акт III, сцена 1. *Перевод В. Раппопорта.*

— А у вас есть дети? — спросила Плюри.

XXIII

Струловичу снился сон. Джессика с Беатрис — обеим лет по девять — резвились в пластмассовом детском бассейне у него в саду, брызгая друг в дружку водой. Солнце освещало их юные тела — тела не сирен, а девочек-лягушат, которые не пытаются завоевать внимание кого бы то ни было, даже собственных отцов, растянувшихся в шезлонгах и потягивающих ледяное пиво. Было ли когда-нибудь время такой невинности? Да, во сне у Струловича было.

Кей поливала цветы из шланга, который извивался, как змея, потому что кран повернули до предела. Лия стояла рядом и смеялась своим тягучим венецианским смехом. Сам Струлович не был невинен, а потому желал их обеих. Две еврейские жены, две еврейские дочери — неудивительно, что родители, играющие в тени в карты, им довольны.

Шейлок спал. У себя во сне Струлович мог делать с ним все, что пожелает, а желал он, чтобы Шейлок лежал без сознания. Интересно, ему тоже снится сон? Две еврейские жены, две еврейские

дочери?..

Сон древнего Струловича затопили слезы. Расплавленные слезы цвета золота.

По кому?

Во сне определить трудно.

* * *

— Какие новости с Риальто? — спрашивает д'Антон у секретаря.

Ответ всегда один и тот же:

— Никаких.

К лицу д'Антона приливает краска.

Струлович спрашивает своего секретаря о том же и получает тот же ответ.

В его лице уже несколько дней ни кровинки.

* * *

Предоставленный самому себе, Шейлок бродил по дому, разглядывая картины. Он вырос в красивом городе, однако чувствовал, что отгорожен от его великолепия. Значительная часть произведений искусства хранилась в церквях, — точнее, значительную часть произведений искусства и составляли сами церкви, — а восхищаться ими он не мог. Если краем глаза Шейлок замечал что-

нибудь прекрасное, то держал это при себе и не рассказывал даже Лии — не хотел, чтобы другие подумали, будто он желает обладать тем, что ему не принадлежит.

Даже здесь, в доме Струловича, где никто его не видел, Шейлок стеснялся смотреть на картины. Роль восхищенного зрителя не вязалась с его яростным недоверием ко всему окружающему. Если полюбить созданное людьми, того и гляди полюбишь самих людей.

Поэтому Шейлок неохотно выделял из висящего на стенах то одно, то другое. Вот небольшая обнаженная натура Марка Гертлера, розовая и дерзкая, христианское тело, выставленное на обозрение любопытному еврею, но по-прежнему недосягаемое. Несколько рисунков углем Дэвида Бомберга, изображающих разрушенные войной английские церкви. Парочка ранних произведений Люсьена Фрейда, которые, должно быть, до сих пор оцениваются в кругленькую сумму, жестоких и неумолимых, однако, на взгляд Шейлока, лишенных еврейской чуткости — похоже, художник обменивался с англичанами фрейдистскими намеками. Если это еврейские художники, то они из кожи вон лезут, чтобы угодить нееврейским критикам.

Его вкусу больше отвечали три многослойных портрета Франка Ауэрбаха, которые передавали — да так точно, что Шейлок не уставал изумляться, — каково это — жить внутри запутанной матрицы человеческой головы. «По крайней мере, — мрачно подумал Шейлок, стискивая зубы, — каково жить внутри моей».

Он не мог решить, как понимать коллекцию Струловича — не только отдельные работы, но и сам факт, что Струловичу хочется ими владеть. По вероисповеданию, а также по вынужденной привычке Шейлок был человеком слов. Чувственное воспроизведение действительности вызывало у него беспокойство. Бог создал мир силой слова — «Да будет так», — а не нарисовал. Будь Бог художником, мир получился бы иным. Хуже или лучше? По крайней мере, менее склонным к диспутам и ораторству, что вряд ли пришлось бы Шейлоку по вкусу. Узнал бы он сам себя в нарисованном мире? Шейлок думал посредством слов, спорил посредством слов, стоял на своем посредством слов. С другой стороны, он полюбил Лию в тот же миг, как увидел. Он любил ее телесность, излучаемую ей атмосферу, любил Лию спящую ничуть не меньше, чем Лию бодрствующую, любил самую ее безмолвную сущность. Когда

Лия умерла, их отношения свелись к разговору — «свелись» не потому, что разговор был пуст, а потому, что не осталось ничего, кроме разговора, бесконечной беседы, без которой он бы не выжил, но которая не избавляла от нестерпимой тоски. Значит, ему не хватает не речей Лии — ему не хватает возможности видеть ее, чувствовать ее запах, прикасаться к ней. Называть себя только человеком слов было бы кощунством по отношению к Лии. А также кощунством по отношению к себе — кощунством, которое усердно проповедуют христиане. Евреи, утверждают они, лишены способности к чувственному восприятию. То, что они видят, они видят опосредованно, глазами других. Их родная стихия — закон, а закон отлит в словах. Именно слова сделали евреев жестокими и непреклонными. И слепыми. Клевета. А евреи, как ни удивительно для такого упрямого народа — еще одна клевета, — покорно согласились. Да, вы правы, сказали они христианам, мы скованы холодной формальностью слова и все, что есть в жизни прекрасного, оставляем вам. Наш удел — думать, ваш — видеть. Наш удел — судить, ваш — наслаждаться. Ложь, все это ложь. Слово, сотворившее мир, сотворило и чувственные радости. Да будет море, да будет небо, да будет свет,

да будет красота.

Бог евреев тоже предпочитал не проявлять свою чувственную сторону открыто, опасаясь, как бы его не спутали с языческими идолами.

Струлович — по крайней мере, в своей страсти к коллекционированию — отказался следовать примеру излишне щепетильного еврейского Бога и опроверг наветы христиан.

Шейлок бродил среди картин, неторопливо их разглядывая. Ему бросилась в глаза группа портретов Эммануэля Леви, которую он в первый раз не заметил. На всех — беспокойные, настороженные женщины, изображенные в мягкой, меланхоличной манере, чувственные, но не пышнотелые, выражающие некую разновидность любви, какие бы отношения ни связывали их с художником на самом деле. И еще две женщины работы Бернарда Менинского, нарисованные с не меньшей нежностью, но еще более удрученные. Шейлок начал замечать, что многие картины в коллекции Струловича выражали острое сострадание к тому, что значит быть женщиной. Может, это женщины-еврейки? Несущие бремя любви к мужчинам-евреям? Под их влиянием Шейлок уже с большей благосклонностью смотрел на все, что видел — ради своей телесной Лии. Он словно

бы пользовался способностями, о существовании которых даже не подозревал. Если бы Шейлок повесил в комнате Джессики картины, изменилось бы что-нибудь? Смог бы он удержать дочь, окружив ее красотой?

Почему, в таком случае, это не помогло Струловичу? Красота повсюду, куда ни глянь, но где же Беатрис?

Кажется, Шейлок знал, в чем дело: Струлович отвергал христианские наветы одной частью своего разума, но принимал другой. Он завешивал стены чувственными картинами и продолжал быть человеком слов, спорящим со всеми окружающими. Покупал произведения искусства, чтобы получить доступ в мир, который в глубине души не считал своим по праву. Надо бы ему чаще смотреть на то, чем владеет, подумал Шейлок. Чаще, внимательнее, с большей гордостью. Впитывать красоту. Упиваться ею. Она настолько же принадлежит ему, насколько им. Покупая произведения искусства, Струлович стал не одним из них — он стал собой.

Неважно, что Бог запретил создавать изображения. У этой заповеди есть и другое толкование. Бог, великий разделитель, разграничил закон и красоту, религию и искусство. Евреям свой-

ственно подчиняться закону. И свойственно любить цвет, жизнерадостность и нежность, как Шейлок любил когда-то Лию и как любил бы по-прежнему, если бы только мог ее видеть. Или как доведенная до отчаяния Джессика полюбила не его.

Что действительно несвойственно евреям, так это любить и то, и другое одновременно.

— Какие новости с Риальто? — спрашивал тем временем Струлович и в очередной раз получал не тот ответ, который хотел бы услышать.

* * *

Грейтан с Беатрис провели день в Новом гетто и теперь под руку шли под дождем в сторону площади Святого Марка.

— Ну вот, ты удовольствие получил, теперь моя очередь, — со смехом объявила Беатрис.

Грейтан выразил недоумение, как осмотр достопримечательностей в гетто можно назвать удовольствием.

Беатрис вздохнула и попыталась не скучать по отцу слишком сильно.

Однажды она поцеловала мальчика со сглаженными скулами по имени Фен. Китайского мальчика, семья которого владела тремя китай-

скими супермаркетами и двумя китайскими ресторанами в Манчестере. Беатрис пыталась очаровать его остроумными замечаниями, однако ни одно не показалось ему забавным.

— Смейся, Фен, — говорила она, но он, похоже, не умел смеяться.

Беатрис попыталась пальцами раздвинуть ему губы и сложить их в улыбку — тут-то, неожиданно для самой себя, она его и поцеловала. В эту самую минуту отец возник на пороге и обвинил ее в том, что она способствует победе Гитлера.

Фен рассмеялся.

Вместо того чтобы скучать по отцу, Беатрис решила скучать по Фену.

Есть ли хоть один человек, по которому она не скучала? Хоть один человек, с которым в Венеции не было бы так тоскливо, как с Грейтаном?

— Здесь меня никто не знает, — без конца жаловался он. — Даже автографа ни разу не попросили!

— В этом тоже есть свои плюсы, — ответила Беатрис. — Можешь все свое внимание уделить мне.

Они сели за столик на открытой площадке перед кафе «Флориан», чтобы послушать оркестр. Беатрис тут нравилось. Когда она заходила сюда с

отцом, он сказал, что «Флориан» напоминает ему венские кафе, только на улице. Не было лучшего места, чем венское кафе, чтобы по-настоящему почувствовать себя евреем. Пока не пришел Гитлер и все не испортил.

— Вот почему… — начал он, но дальше Беатрис не слушала. Вот почему он не может позволить ей целовать Фена.

И все-таки здесь, во «Флориане», они с отцом пребывали в гармонии: он изображал из себя венского еврея, она изображала из себя послушную дочь.

А вот с Грейтаном приходить сюда явно не стоило.

— Не люблю такую музыку, — пожаловался он. — Слишком она сладкая. Мне от нее тоскливо.

— От нее и должно быть тоскливо. Сладостно-тоскливо.

— А мне сердито-тоскливо.

— Это потому, что ты думаешь о чем-то другом.

— Естественно, думаю! О том, как твой папаша меня кастрирует.

— Попробуй просто послушать.

— Не люблю скрипки. Похоже на пилу.

Беатрис не стала спрашивать, какая музыка

ему нравится. Она и так знала. Джонни Кэш. Брюс Спрингстин. Музыка тюремных заключенных.

Беатрис поняла, что Грейтан безнадежен.

А Грейтан понял, что безнадежна Беатрис. Она и после свадьбы будет таскать его на такие концерты. Концерты, где евреи или, по крайней мере, музыканты с еврейскими фамилиями пилят смычком по струнам.

При виде счета Грейтан рассердился еще больше.

— Мы же всего лишь выпили кофе!

— А еще мы слушали венскую музыку, смотрели на прохожих, и все это в Венеции. По-моему, вполне недорого. Особенно по сравнению с теми суммами, которые люди выкладывают, чтобы посмотреть, как ты мажешь мимо ворот и отдаешь нацистское приветствие.

— Я больше не отдаю нацистское приветствие.

Той ночью в казино Беатрис играла в рулетку. Она снова и снова ставила на сектора, смежные с нулем, ощущая с ними некоторое сродство, и проиграла восемьсот евро из денег Грейтана.

— Если бы это были деньги твоего отца, — сказал он, — я бы не возражал.

— Ну, в каком-то смысле это и так деньги моего отца — ты же до сих пор за меня не расплатился.

Грейтан юмора не оценил.

На следующее утро, в знак примирения, Беатрис купила ему игрушечную обезьяну в черной карнавальной маске.

Юмора Грейтан опять не оценил.

* * *

Шейлоку хотелось поговорить со Струловичем о живописи, похвалить его вкус, попросить больше не называть картины, которые он коллекционирует, еврейским искусством: в конечном итоге все искусство по своему происхождению еврейское. Пусть различия проводят другие, если им так хочется — называют то искусство, которое создают, постпаулинианским. Однако сначала нужно обсудить другую тему — беседу с Плюрабель.

Шейлок не спешил рассказывать о ней Струловичу. Ждал подходящего момента. И потом, если все вокруг пытаются вычислить, как извлечь из происходящего выгоду, чем он хуже?

Однако Шейлок не мог вечно держать предложение Плюрабель в секрете.

Он отправился на поиски Струловича и нашел его сидящим в глубоком кресле и погруженным в мрачные раздумья. Вокруг висело столько кар-

тин, что стен почти не было видно, но ни на одну из них Струлович не смотрел.

— Если хотите на этом поживиться, они вам позволят, — без предисловий объявил Шейлок.

— На этом?

— Вы знаете, о чем я.

— А кто такие «они»?

— Мадам, хозяйка борделя или как там она предпочитает себя называть. А косвенно, насколько я понимаю, и сам д'Антон.

— Насколько вы *понимаете?*

— Я разговаривал с ней. Записку вручила мне она. Видимо, я должен счесть это проявлением неслыханной снисходительности.

— Почему вы сразу не рассказали?

— Вам нужно было определиться, как ответить на саму записку. Я посчитал, что практическую сторону дела можно обсудить позднее.

Шейлок старательно устроился в соседнем кресле. Оба они сидели лицом к окну, выходящему на гору Элдерли-Эдж, над которой шел легкий снежок. Как будто живешь в снежном шаре, подумал Шейлок. Бог с ним, с искусством — пора уходить отсюда. Ему не хватало зноя и суматохи Риальто. И жестокости тоже. Англия — не место для евреев. Он и Лии сказал то же самое. В этой

стране у людей оголенные нервы, объяснял он жене. Здесь можно покалечить взглядом, убить словом. Мой друг Струлович утратил присущую нашему народу выносливость. Любую обиду он воспринимает болезненно, словно престарелая незамужняя сестра сельского священника. Поэтому не может определить, что стоит объявления войны, а что нет, и мысленно объявляет войну по любому поводу.

— Можно подумать, сам ты — образец сдержанности! — рассмеялась Лия.

И была права. Евреи объявляют войну по любому поводу, куда бы их ни занесло. Просто обычная еврейская задиристость сильнее бросается в глаза в этой стране, где очертания ландшафта плавны, звук шагов тонет в мягком снегу, а провокации более изощренны.

Струлович сидел, закрыв лицо руками. Смотреть на Шейлока ему хотелось ничуть не больше, чем на снег. Собственные ладони — вот единственная часть материального мира, вид которой он мог сейчас выносить.

Шейлок задумался, не выгонят ли его на улицу, несмотря на снегопад.

«Ступай!»

Пока такого приказа не последовало, он сидел

молча, слушая, как тяжело пульсируют мрачные мысли Струловича.

— И какая она, эта мадам? — спросил наконец Струлович, но ответа дожидаться не стал. — И что вы имели в виду, когда сказали, что я могу поживиться?

— Если хотите зрелища, они устроят зрелище. Вы не посвятили меня в свои планы относительно того, каким образом желаете получить причитающийся вам фунт мяса, поэтому намерения ваши мне неизвестны. Как, где, кто его вырежет и кто взвесит.

— Вес меня не интересует.

— В метафорическом смысле.

— Метафоры меня тоже не интересуют. То, чего я прошу, буквально до скуки.

Шейлок не стал спорить.

— Кто предоставит подтверждение, в таком случае? Достаточно ли с вас письменных показаний врача? Или же предпочитаете осмотреть преступную плоть собственными глазами? Сам я о подобных вопросах не задумывался — действовал по вдохновению. Однако вам не советую. Лучше чувствовать себя господином положения. Или хотя бы распорядителем бала — они считают, что вам захочется устроить вечеринку. По

крайней мере, мадам так считает. Предлагала провести мероприятие у себя в саду.

— Она не сказала, будут ли танцы?

— Будет все, чего пожелаете. Хоть фейерверки. Насколько я понял, мадам занимается ресторанным бизнесом, так что кормить должны хорошо. Еще она предлагает показать мероприятие в своей телепередаче, если идея эта вам по душе.

— Стоп, стоп, стоп… Не хотите ли вы сказать, что они готовы снять операцию на камеру?

— Скорее дебаты.

— Какие еще дебаты? Дебаты предполагают, что между нами остались нерешенные вопросы, а все уже решено.

— Если я правильно понял…

— Даже не сомневаюсь, что вы правильно поняли. Разве есть что-нибудь, чего вы не понимаете?

— Если я правильно понял, — повторил Шейлок, — вопрос, должен ли д'Антон пройти обрезание вместо Грейтана, поставят на общественное голосование.

— А если общественность скажет «да»?

— Этого мы не обсуждали.

— А если «нет»?

— Этого мы тоже не обсуждали. Я взял на себя смелость отказаться от участия в телепередаче.

Мне показалось, я вправе действовать от вашего имени, поскольку вы, судя по всему, уверены, что встряли в это дело по моей милости.

— А на вечеринку вы согласились?

— Я ответил, что передам вам их предложение.

— Когда сами сочтете нужным?

— Ничего этого мне не нужно. Я здесь не с некой сумасбродной миссией личного характера. Позвольте напомнить: вы сами нашли меня на кладбище и пригласили к себе домой, за что…

— Я нашел? По-моему, память вас подводит. Я исполнял обязанности сердца. У меня было на кладбище дело, а вот вы так и не объяснили, что привело вас туда.

Шейлок, который никогда прежде не снимал шляпы, снял ее и провел рукой по волосам. У него был такой вид, точно он сам готов уйти в снегопад, вне зависимости от желаний хозяина. Уйти и никогда больше не возвращаться. С меня хватит, говорило выражение его лица. С меня хватит.

Он никогда не станет мне другом, подумал Струлович. А впрочем, я тоже никогда не стану другом ему.

Однако гостеприимство заставило его вспомнить о хороших манерах.

— Извините, — сказал он. — Я благодарен вам

за совет.

— Я бы не назвал это советом.

— Как ни называйте, я все равно благодарен. За внимание. За ваше время.

— Тогда вот что я думаю: вам следует принять приглашение — не ради их удовольствия, а ради собственного. Это принесет вам немало веселья…

— Веселья!

— Да, веселья, если посмотреть с нужной стороны. Воспринимайте это как очко в пользу евреев — как грандиозную брит-милу на открытом воздухе.

Снег над Элдерли-Эдж повалил сильнее. Красиво, если настроение соответствующее.

— Не холодновато ли? — спросил Струлович. — Для д'Антона, я имею в виду.

— В саду разобьют шатер. Наверняка в нем будет отопление.

— Не хотите ли сказать — раз уж вы сами назначили себя координатором, — что они готовы провести процедуру при гостях?

— Смотря что вы подразумеваете под процедурой. Если прилюдное решение спора — развязку, так сказать, справедливое распределение почестей и наказаний, посрамление виновных и

оправдание невинных или же наоборот, — а мой опыт показывает, что чаще бывает как раз наоборот, — то да. Если же вы имеете в виду удаление крайней плоти, то я сильно сомневаюсь, что д'Антон согласится пройти через это на глазах у всех. Они с мадам скорее склоняются к клинике.

— Жалкий трус, — проворчал Струлович, что было равносильно принятию великодушного предложения Плюрабель по всем прочим статьям.

АКТ V

Стоит один из тех зимних дней, обычных на севере Англии, когда больше хочется умереть, чем жить. В Золотом треугольнике, образованном деревнями Уилмслоу, Моттрам-Сент-Эндрю и Элдерли-Эдж, отсутствие солнечного света чувствуется особенно остро — там в любую погоду царит грусть.

Грусть — одно из средств, к которым прибегают люди, желающие вести возвышенную жизнь и тем самым отгородиться от нелепости бытия: от несправедливости, заурядности, вечно повторяющейся жестокости.

А еще это один из тех дней, когда человек, не склонный ни к грусти, ни к оптимизму, чув-

ствует, что солнце, быть может, когда-нибудь выглянет вновь. Не сегодня и даже не завтра, но через несколько недель или месяцев.

Плюрабель предпочла бы подождать: весной сады смотрятся гораздо выигрышнее. Однако она зависела от нетерпения Струловича. И д'Антона тоже, если уж на то пошло. Да и сама Плюри понимала: чем скорее они уладят это дело, тем лучше.

— Вставай, — велела она Барнаби, который считал, что воскресенье для того и предназначено, чтобы валяться в постели. Так как по роду деятельности от Барни всю жизнь требовалось только одно — презентабельно выглядеть, — он был уверен, что практически любое утро предназначено для того же самого, а поскольку его кудрявая голова очаровательно смотрелась на подушке у Плюри, она обычно не возражала. Однако сегодня день предстоял особый.

— Хочу кое о чем тебя попросить, — сказала Плюрабель. — Не догадываешься, о чем именно?

Барнаби почувствовал, что сил на испытания у него не осталось. Д'Антон до сих пор не раздобыл эскиз Соломона Дж. Соломона, который доказал бы Плюри, насколько высоко и насколько неординарно Барнаби ее ценит. Зато д'Антон нашел кольцо, очень похожее на потерянное, а значит,

Плюри намекает на что-то другое. Накануне вечером они занимались любовью, так что на это она тоже намекать не может.

— Подсказка бы не помешала, — признался Барни, понимая, что их отношения строятся по типу теста и что Плюри, как обычно, предложит ему три варианта ответа.

— Это как-то связано с сегодняшним днем, — подсказала Плюри. — Ты ведь знаешь, сегодня очень важный день.

Барнаби приподнялся на локте и повернул к ней свой профиль. Обычно это само собой разрешало любые трудности.

— Ты хочешь, чтобы я либо встречал гостей у ворот, либо раздавал лотерейные билеты, либо бинтовал раны д'Антона, но последнего я делать не собираюсь.

Плюри покачала головой.

— Можешь либо испариться на целый день, либо испариться на целый день, либо испариться на целый день.

Барнаби игриво поинтересовался, нет ли четвертого варианта.

— Можешь испариться на целый день, — ответила Плюри и поцеловала его.

— Боишься, как бы я не потерял сознание при

виде крови?

— Нет. Боюсь, как бы при виде тебя не потеряли сознание мои подружки.

— На самом деле ты хочешь отослать меня с глаз долой по какой-то другой причине, так ведь?

— Ты прав. На самом деле я хочу отослать тебя с глаз долой, потому что одно твое присутствие наводит на мысли о сексуальных удовольствиях. Ты так молод, так красив и так изнежен, что все подумают, будто мы здесь только и делаем, что предаемся плотским наслаждениям. А я не хочу создавать подобное впечатление — только не сегодня. Я грустила, пока не встретила тебя, и в интересах нашего общего дела — твоего, моего и д'Антона — должна казаться грустной сегодня.

— Хорошо, — ответил Барнаби, довольный тем, что она не упомянула имени Грейтана, — поеду в Честерский зоопарк.

Плюрабель понимала, что он обиделся, но день этот требовал жертвы от каждого.

* * *

Струлович и Шейлок тоже встали рано.

Струлович примерил несколько костюмов, все без исключения черные, и большую часть утра провел перед зеркалом. Как же следует одеться?

Наконец он обратился за советом к Шейлоку.

— Какой из этих трех галстуков кажется вам наиболее подходящим к случаю?

Похожие ощущения были у него перед обеими свадьбами. Та же буря в животе. Та же неуверенность, ждет ли он событий этого дня с нетерпением или со страхом.

— Обычно вы галстука не носите, — заметил Шейлок.

— Обычно — нет, но, по-моему, случай обязывает.

— Тогда любой, кроме красного.

— Очевидно, — произнес Струлович, как бы рассуждая вслух, — сами вы никаких изменений в свой костюм вносить не собираетесь.

Лицо Шейлока осталось непроницаемым.

— Нужно решить, что делать со шляпой, — ответил он.

— Я думал, вы останетесь в ней.

— Вопрос не в том, что вы думаете, а в том, следует ли в ней остаться.

— В шляпе вид у вас более угрожающий.

— Другими словами, лучше снять?

— Другими словами, лучше не надо.

Шейлок взглянул на себя в зеркало. Он тоже нервничал и вспоминал о прошлом.

Окончательный план, составленный людьми, более подходящими на эту роль, чем главные участники событий, был таков:

Шофер Струловича Брендан отвезет их с Шейлоком в «Старую колокольню», где Плюрабель даст небольшой прием с шампанским, на котором, если Грейтан с Беатрис не явятся, чтобы ответить за содеянное — на всякий случай Плюри наняла для них струнный квартет, — произойдет окончательный разговор Струловича с д'Антоном, после чего они подтвердят условия соглашения при свидетелях, выбранных за умение хранить чужие тайны, и отправятся в лимузине, не принадлежащем ни одной из сторон, в частную клинику в Стокпорте. Предварительное обследование д'Антона на предмет телесной и психической готовности к операции, какой бы незначительной она ни была, состоялось в той же клинике несколько дней назад. Струлович проводит д'Антона до порога (и немного постоит перед дверью, дабы убедиться, что тот не замышляет сбежать), а затем вернется на вечеринку. В надлежащее время — сама процедура, при отсутствии осложнений, длится недолго, — известие об успешном и засвидетельствованном завершении операции будет передано в «Старую колокольню», Стру-

лович подпишет бумаги, в которых обязуется более не преследовать Грейтана, не ограничивать свободу Беатрис и не порочить доброе имя Плюрабель и д'Антона. Последний пробудет в клинике столько, сколько необходимо, получая лучший уход, какой только способен предложить Стокпорт, а удовлетворенный Струлович поедет домой. Сколько шампанского он выпьет, зависит исключительно от него. То же касается произнесения речей.

— Как шафер, вы могли бы сказать несколько слов, — обратился Струлович к Шейлоку.

— Я не шафер.

— Просто пошутил.

— Ваша шутка неуместна.

— Я же по-доброму.

— По-моему, мы установили, что шутить по-доброму невозможно.

Последовало минут пятнадцать напряженного молчания, в течение которого сначала один, потом другой отлучился в туалет, чтобы осмотреть себя в зеркале.

Первым заговорил Струлович:

— Я тут подумал, не стоит ли проверить, все ли в порядке в клинике?

— А что может быть не в порядке?

— Колебания на идеологической почве.

— Это же специализированная клиника.

— Всегда могут возникнуть сомнения.

— У кого?

— У хирурга.

— Он проводит подобные операции каждый день. Это его работа. На вашем месте я бы скорее сомневался, не сбежит ли д'Антон.

— Д'Антон! В д'Антоне я уверен. Я изучил его натуру до самого донного ила — не особое достижение, учитывая, что больше в его натуре почти ничего нет. Д'Антона я знаю. Он у меня в руках. Больше всего на свете ему хочется проявить мужество и попутно выставить нас бессердечными негодяями. Возможно, д'Антон даже надеется, что его убьют. Жаль, мы не можем ему в этом угодить.

— Мы?

Струлович бросил то, чем занимался, и поднял взгляд на Шейлока, однако тот смотрел в другую сторону.

— Только не говорите, что я должен сомневаться в вашем постоянстве.

— Разве я обязан соблюдать по отношению к вам постоянство? Насколько мне известно, я ничем и никому не обязан. Уж точно не обязан

причинять вред этому д'Антону.

— Разумеется, вы ничем не обязаны ни мне, ни д'Антону. Однако наши поступки влекут за собой определенные последствия.

— Боюсь, вам придется выразиться точнее.

— Подавая другим пример, мы должны отвечать за последствия.

— Я подал пример?! Я?!

Шейлоку хотелось бы выйти в сад и поделиться своим недоумением с Лией.

— Судя по всему, — сказал бы он ей, — мой гостеприимный хозяин видит во мне образец для подражания. Можешь себе представить?

— Боюсь, как бы это не вскружило тебе голову, — ответила бы Лия, — но для меня ты тоже всегда был героем.

— Значит, оба вы дураки.

* * *

Хотя д'Антон до последнего спрашивал, нет ли новостей с Риальто, из всех участников драмы он казался наименее взволнованным. Пусть топор палача падет. Чему быть, того не миновать. Главное — готовность[68].

---

[68] Примечания: 68

У. Шекспир, «Трагедия Гамлета, принца датского». *Перевод А. Чернова.*

Учитывая, что поначалу д'Антон встретил предложение Плюрабель в штыки, настроение у него было неожиданно хорошее. Впрочем, она как следует его обработала — объяснила, сколь многое зависит от его содействия. В конечном счете, напомнила Плюрабель, ему самому план не может принести ничего, кроме выгоды.

И все же Плюрабель удивило, насколько он спокоен.

— Меня поддерживает сознание нашей правоты, — произнес д'Антон, взяв руку Плюри в свою и прижав ее к щеке.

— А меня — твое спокойствие духа, — ответила она.

Оба рассмеялись.

Когда приехали Струлович с Шейлоком, в снежно-белом шатре, обогреваемом рядами лучших уличных обогревателей, какие только можно достать за деньги, собралась уже целая компания.

Шейлок, который был все-таки без шляпы, представил Струловича хозяйке.

— Странно, что мы не встречались раньше, — сказала Плюрабель, пожимая Струловичу руку.

— Поскольку мы не вращаемся в одних и тех же кругах, если не считать тех кругов, которые моя дочь описывает вокруг меня, а вы — вокруг нее,

ничего странного я не вижу.

Странным Струловичу показалось другое: выражение обиженного удивления — словно у человека, тонущего там, где нет воды, — которое придали каждой черте Плюрабель тысячи хирургических надрезов. Пусть нож обойдется с д'Антоном столь же немилосердно, пожелал мысленно Струлович.

Он так же отвратителен, как я предполагала, подумала Плюрабель, ощущая новый прилив жалости к Беатрис. Неудивительно, что ее собственный отец ненавидел евреев. Впервые она поняла значение тестов, которые он составил для ее потенциальных любовников. Тесты были призваны защитить Плюрабель от посягательств подобных монстров. Из двух представленных особей она предпочитала Шейлока, что и подчеркнула: взяла его под руку и провела в шатер, к гостям.

— Кто все эти люди? — спросил Струлович, идя вслед за ними.

— Доброжелатели д'Антона и мои друзья, — ответила Плюрабель. — Вам было предложено пригласить равное число сторонников.

— Я не нуждаюсь в сторонниках.

— Могу вас заверить: они здесь не для того,

чтобы поколебать мнение какой-либо из сторон.

— Никаких мнений быть не может. Мы с вашим сообщником договорились, что произойдет, если Грейтан не возвратит Беатрис к полудню, а до назначенного срока осталось всего несколько минут.

Ровно в полдень д'Антон вышел из дома и, подобающе потупив взор и слегка сгорбив спину, словно хотел изобразить усталость, направился к Струловичу. Струлович заметил, что под пальто и пиджаком у него белоснежная, как окружающий пейзаж, рубашка, три верхние пуговицы которой расстегнуты, точно у эстрадного певца. «Может, он забыл, для чего мы здесь? — пронеслось в голове у Струловича. — Не думает ли он, будто я покушаюсь на его сердце?»

Ни тот, ни другой не пожелал обменяться рукопожатием.

— Итак, дело решено, — объявил Струлович, глядя на часы. — Вы исполните мое желание вместо своего подельника Грейтана…

— Он мне не подельник.

— Как скажете. Вы исполните мое желание вместо него, и когда дело будет сделано…

— Мы с вами окажемся в расчете. У вас больше не останется претензий ни к кому из нас, вклю-

чая вашу дочь.

— Моя дочь остается моей дочерью. Я не согласен считать Беатрис «одной из вас». Но я приму любую ее волю, если у меня будет письменное подтверждение того, что вы покинули клинику не в том же состоянии, в котором туда поступили.

— По-моему, последний пункт выходит за рамки договора. Не даст ли он вам право жаловаться, что в том или ином отношении я остался тем же человеком, что и раньше?

— Кем вы останетесь «в том или ином отношении», меня не касается. Своим складом ума, характером, темпераментом и привязанностями, своими предрассудками вы вольны распоряжаться, как пожелаете. Сам дьявол не смог бы их изменить, поэтому и я не льщу себя подобной надеждой. Пределы моих требований четко ограничены. Вы знаете, чего я хочу.

— Чтобы вернувшись, если будет на то воля Божья, я оказался годен на роль вашего зятя…

— Моим зятем вы не станете никогда.

— И никогда не захочу им стать. Я имею в виду лишь в «четко ограниченном» смысле. Годен, в глазах вашего Бога, на роль еврейского мужа, если когда-нибудь пожелаю сделаться таковым. Ха!

Почему-то на фразе «в глазах вашего Бога» Струловичу захотелось выцарапать глаза д'Антону. Даже когда пробили часы, его не покидала надежда, что Беатрис все-таки вернется — неважно, с Грейтаном или одна. Теперь же он молился, чтобы она не приехала.

Струлович утвердительно кивнул.

— Тогда делайте свое грязное дело, — произнес д'Антон, оглядываясь в поисках Барнаби. Как жаль, что он оплачивает не его долг, а долг Грейтана. При мысли о Барни сердце д'Антона полнилось поэзией. «Дай руку, Барнаби, — мог бы он сказать. — Привет мой шлю жене твоей достойной. Пусть судит, был ли у Барни друг…» Д'Антону нравилась эта постепенно затухающая интонация. «Пусть судит, был ли у Грейтана друг», — звучало совсем не так.

Д'Антон хотел попросить Плюрабель засвидетельствовать Барнаби его почтение, однако у нее были собственные дела.

— Могу я сделать заявление, прежде чем мы покончим с этим? — спросила она, обращаясь к Струловичу. — Горести отца мне понятны. Мой собственный отец умер в страхе за будущее дочери. Не могу сказать, чтобы он слишком старался меня защитить, однако его предосторожности да-

леко не облегчили мой путь. Иногда отцу следует просто отпустить ребенка в большой мир…

— Я и так отпустил ребенка в большой мир, и мир его осквернил. Я заключил сделку, которая не вернет мне дочь, но сделка есть сделка. Этот джентльмен, если верить отзывам — по крайней мере, его собственным отзывам, — человек чести. Именем этой чести он обязан дать мне то немногое, о чем я прошу.

— Для него это очень даже многое, — заметила Плюрабель.

Струлович кашлянул и взглянул на Шейлока в поисках участия, но тут же вспомнил, что от Шейлока участия ждать не приходится. Без шляпы он выглядел более приветливо. Чопорно, но милостиво. Директор прогрессивной, однако не слишком прогрессивной средней школы.

— Последствия операции могут быть чудовищны, — продолжила Плюрабель. — Ваша цель — унизить моего друга. Что же, цель достигнута. Нет ли у вас, кроме того, намерения нанести ему непоправимый вред? Я не преувеличиваю, у меня есть данные. — Она достала из кармана распечатку, на которой Струлович заметил логотип «Википедии». — Данные о несчастных случаях и даже летальных исходах. Несомненно, они за-

ставят вас задуматься. Я друг Беатрис. Я считала себя ее покровительницей. На этих правах прошу — именем вашей собственной веры и веры вашей дочери — помиловать человека, который сознательно никогда не тронул бы даже волоса на ее голове.

Плюрабель, казалось, повторяла заученный текст и не глядела в глаза тому, кого пыталась убедить.

— Слишком поздно, — ответил Струлович. — Мы заключили сделку. Давайте покончим с этим и навсегда позабудем друг о друге. Насколько я понимаю, машина ждет.

Струлович повернулся к д'Антону и сделал учтивый жест — только после вас.

Они тронулись было с места, но их снова остановили.

— Постойте. Одно лишь слово.

Струлович удивленно обернулся. На этот раз говорил Шейлок, который до сих пор держался с подчеркнутой отрешенностью, возбуждая всеобщий интерес полным безразличием к событиям этого дня, а также к их участникам. Шейлок скучающий. Шейлок отсутствующий. Однако то было раньше. Теперь, словно побуждаемый к действию некой внешней силой, он стал другим

человеком. Доброжелательным, желающим, чтобы его выслушали. Шейлок настойчивый. Примирительный тон, мягкий голос, обнаженная голова.

— Что такое? — спросил Струлович.

— Минуту вашего внимания, — ответил Шейлок, — не более.

— Все уже и так сказано.

— Не все.

— Разве я о чем-то забыл? Или, быть может, вы забыли?

— Забыл? Я — нет. — Шейлок выдержал паузу, словно то обстоятельство, что он и Струлович разные люди с разными воспоминаниями, заслуживало особого внимания. — А вот вы — да. Вы кое о чем забыли.

Внезапно скучное серое небо показалось грозовым. Это было Шейлоку вполне по плечу. Он мог воздействовать на атмосферное давление, мог будоражить погоду силой того, что будоражило его самого. Струлович поднял взгляд, увидел перед собой прошлое и будущее. Его охватила усталость, знакомая всем пророкам.

— У меня нет времени на банальности, — сказал он. — Я не нуждаюсь в уроке. Дело решено.

Он кивнул д'Антону, который уже покорился

судьбе — вне зависимости от того, что означало вмешательство Шейлока.

Однако Шейлок еще не закончил.

— Вы принимаете условия соглашения? — спросил он и впервые взглянул д'Антону в лицо.

Веки д'Антона опустились, словно тяжелые портьеры.

— Полностью принимаю, — ответил он.

— Вы признаете, что они справедливы?

— Справедливы? Разве речь идет о справедливости?

— Если вы считаете иначе, значит, не можете их принять.

— Я принимаю условия, потому что должен.

— Что же вас обязывает?

— У меня нет выбора.

— Вы могли бы отказаться.

— Если откажусь, пострадают те, кого я люблю.

— А вы? Вы сами не пострадаете?

— То, что случится со мной, меня не волнует.

— Иными словами, вы добровольная жертва?

— Да.

— Следовательно, обе стороны получат то, чего хотят. По-моему, это справедливо.

Д'Антон кивнул.

— Итак, я спрашиваю еще раз: вы признаете,

что условия соглашения справедливы?

— Жестоки, но справедливы.

— Но справедливы?

Я словно зубы у него вытягиваю, подумал Шейлок.

— Да, — ответил д'Антон. — По справедливости — справедливы. — Он слабо улыбнулся собственной шутке. — Однако не более того.

Шейлок, не оценивший юмора, кивнул и повернулся к Струловичу:

— Ну, так должен жид быть милосердным…

Струлович отлично знал, что обязан сказать в ответ. Не всегда у человека есть выбор.

— А по какой причине должен?

На что Шейлок тоже ответил то, что обязан был ответить:

— Не действует по принужденью милость. Как теплый дождь, она спадает с неба…[69]

* * *

В коллекции Струловича имелся офорт неизвестного художника XIX века. На нем изображен Улисс, которого товарищи привязали к мачте,

---

[69] Примечания: 69

Диалог Порции с Шейлоком. У. Шекспир, «Венецианский купец». Акт IV, сцена 1.

чтобы уберечь от предательски сладкозвучного пения сирен. На вкус Струловича, сами сирены формами слишком напоминали рубенсовских красавиц, однако ему нравилось, что их песни показаны в виде нот, которые летят к Улиссу, точно птицы, осаждая все пять его чувств. Глаза Улисса вылезли из орбит; он силится разорвать путы и явно жалеет, что велел себя связать. А как же моряки с заткнутыми воском ушами? Достигла ли их слуха хоть одна летучая мелодия, пока они работали веслами? Или же моряки не заметили ничего, кроме стены невнятных воплей и молча кривляющихся русалок?

Поскольку у Струловича не было воска, чтобы обеззвучить Шейлока, он оглушил себя усилием воли — протянул от уха до уха череду мрачных мыслей, словно траурную гирлянду, если, конечно, такие бывают. Все, что когда-либо его разозлило, каждую обиду, все то плохое, что делали ему и что делал он сам. Отличный противовес медоточивой речи Шейлока.

Вот то, чего не слышал Струлович, — впрочем, даже если бы он слушал, он все равно бы воспринял только то, что ожидал услышать, — и что сказал Шейлок:

— Не действует по принужденью милость… Вы

спрашиваете, по какой причине должны быть милосердны — вы, не видевший милости от того, к кому я прошу вас ее проявить. Вы спрашиваете, почему должны возвращать то, чего не получали, и я отвечу: станьте образчиком милосердия. Давайте, не ожидая получить милость взамен, — ибо это не торговая сделка, — но давайте ради того, что она собой представляет. Проявляйте жалость во имя самой жалости, а не чтобы извлечь пользу для собственной души. Глаза, лишенные жалости, ослепнут, однако проявлять ее следует не только для того, чтобы видеть. Жалость не ищет награды и выгоды, не служит себялюбию, не подменяет собой прощение, а строит свое скромное жилище повсюду, где есть в ней необходимость. Но какая же необходимость здесь, спросите вы, где одна лишь справедливость требует того, что ей причитается. Необходимость одна: так хочет Бог. Что присуще ему, должно быть присуще и вам, иначе вы не вправе действовать его именем. Возлюбит ли Бог грешника больше, чем того, против кого согрешили? Нет, он возлюбит обоих с одинаковой силой. Ни один человек не может любить той любовью, которой любит Бог; даже пытаться — святотатство. Но вы можете поступать в духе Божьей любви,

проявлять милосердие, давать, даже когда это вам горько, как яд и полынь, избавлять недостойных от наказания, любить тех, кто не любит вас, ибо какая добродетель в том, чтобы только отвечать на чужую любовь? Давайте тем, кто готов у вас отнять, а если уже отняли, не платите им тем же, ведь чем сильнее оскорбление, тем выше заслуга того, кто отказывается считать себя оскорбленным. Проявляющий рахмонес не принижает справедливость. Проявляющий рахмонес признает справедливый, но суровый закон, в соответствии с которым мы были созданы. А значит, почитает Бога.

Струлович не слушал, однако терпеливо ждал конца. Хорошие манеры — тоже проявление того сострадания, которое евреи называют рахмонес.

— Вы закончили? — спросил он.

Шейлок сделал знак аплодирующим, что овации излишни.

— Да, я закончил.

— В таком случае я и мой контрагент отправимся в клинику, как было условлено.

Шейлок поклонился. Кажется, ничего другого он и не ожидал.

Однако прежде чем ехать, Струлович хотел обменяться с ним парой слов.

— Именно для этого вы сюда и явились? — спросил он как можно тише. То, что им оставалось сказать друг другу, касалось только их двоих.

— Я бы предпочел думать, — так же тихо ответил Шейлок, — что именно для этого вы меня и нашли.

Струлович утонул в неожиданной голубизне его глаз. И когда успели они сменить цвет?..

— Вряд ли мы сойдемся во мнении, кто нашел, а кто был найден.

— Вряд ли.

— Я тоже оценил ваше выступление.

— Вы не слушали.

— Суть я уловил.

Шейлок опустил голову. Волосы у него оказались реже, чем помнилось Струловичу. С другой стороны, Струлович никогда не видел своего гостя без шляпы. Сентиментальный по отношению ко всем мужчинам, в особенности к отцам, Струлович был почти готов поцеловать Шейлока в то место, где волосы росли реже всего.

Шейлок прочел его мысли.

— Я не нуждаюсь в сыне, — сказал он.

— А с меня хватит отцов. Надеюсь, что способен оценить ваш артистизм сам по себе. Но не могли же вы всерьез поверить, будто сумеете меня

переубедить?

Шейлок рассмеялся — словно робко перевел дыхание. С каких это пор он начал смеяться?

— Ни на минуту. Я даже не думал повлиять на ваше решение. Не все в жизни вертится вокруг вас.

* * *

Когда автомобиль увез Струловича вместе с сидящим рядом д'Антоном, Плюрабель даже не заметила, что они уехали. Она смотрела только на Шейлока. Люблю этого мужчину, подумала она. Чертовски люблю.

Плюрабель порадовалась, что Барни уехал. Она мудро поступила, когда отослала его, хотя на тот момент сама не вполне понимала, что ею движет. Хорошо бы он заблудился. Или пусть себе остается в Честерском зоопарке.

Плюрабель подошла к этому новому мужчине в своей жизни и положила ладонь ему на локоть. Ее удивило, какой твердой оказалась его рука.

— Потрясающе, — произнесла она.

Глаза Шейлока успели вновь стать темно-серыми.

— Не подействовало, — ответил он. — Милосердие не было проявлено.

— О, это неважно.

— Разве?

— Да и как определить, что подействовало, а что нет? — добавила Плюрабель, поднимая к нему лицо с опухшими губами. — Могу сказать, что на меня подействовало.

— Рад слышать. К кому же вы собираетесь проявить милосердие?

— К вам, если захотите.

— Я в милосердии не нуждаюсь.

— В чем же вы нуждаетесь?

Шейлок немного помолчал, словно ожидал еще чего-то.

— И? — произнес он наконец.

Плюрабель растерялась.

— Не понимаю.

— Я жду того, что должно последовать. Разве вы не загадываете загадки тем, кто чего-то от вас хочет?

Плюрабель тряхнула волосами, словно желая выбросить из головы то, что он сказал.

— Для вас у меня загадок нет, — ответила она. — Я чувствую, что с вами наконец-то могу быть откровенна. Знаю, вы ничего от меня не хотите. Но, быть может, есть нечто такое, что я могла бы вам дать?

«Уж не предлагает ли она сделать меня знаменитым? — подумал Шейлок. — Я слишком стар для этого».

— Тишина и покой, — произнес он вслух. — Тишина и покой — вот все, что мне нужно.

Плюрабель приняла это за поощрение. Тишину и покой она могла ему обеспечить.

— Вы не такой, каким я вас представляла.

— Каким же вы меня представляли?

— Не знаю, но я никогда бы не подумала…

Чем бы ни было то, чего бы никогда не подумала Плюрабель, она не могла подобрать для этого слов.

Шейлок пришел ей на помощь.

— Что еврей может вести себя настолько по-христиански?

Казалось, он почти выплюнул в нее эти слова.

— Нет-нет, я совсем не то хотела сказать. У вас был такой грозный вид, когда вы открыли мне дверь… я и представить себе не могла, что вы способны на подобную человечность.

— Вы просто повторили то же самое другими словами. Вы увидели перед собой еврея и не ожидали от него ничего, кроме жестокости.

— Я не увидела «еврея». Мне, знаете ли, евреи повсюду не видятся.

— Ну хорошо: увидели жестокость и придали ей еврейское лицо.

— Я всего лишь хочу сказать, что вы не такой, каким кажетесь на первый взгляд. Я не христианка и не бывала в церкви с детства. Но я представляю себе, что такое христианские чувства. Если меня удивило, что чувства, которые обычно проповедуют с церковной кафедры, красноречиво выразил нахмуренный человек, разве это плохо?

— Вы имеете в виду, нахмуренный еврей.

— Я имею в виду то, что сказала.

— Тогда я отвечу в том же духе. Да, плохо. Плохо забывать, откуда взялись ваши сахарные христианские чувства. С исторической и моральной точки зрения плохо не знать, что Иисус был иудейским мыслителем. Когда вы используете его цитаты против нас, то несете гадкую чушь. Любовь к ближнему — иудейское понятие. Милосердие тоже. Вы заимствовали их у нас. Присвоили себе. Вам отдавали их добровольно, а вы все равно предпочли украсть.

— Я?

— Неприятно служить воплощением? Неудивительно. Мне тоже было неприятно. Меня заставили ползать на брюхе за то, что я собой

воплощал. Так что да, «вы». Вы говорите, что моя человечность вас удивляет. Чего же вы ожидали? И чью человечность во мне видите? Свою собственную! Как смеете вы учить меня тому, что я и так знаю, или ставить мне в пример то, что я давно поставил в пример вам самим? Это неслыханная наглость, древняя кража, не приведшая ни к чему, кроме горя. Ваша наглость запятнана кровью.

Казалось, Плюрабель готова расплакаться. Она прижала руку к груди.

— Вы словно наложили на меня проклятие, — проговорила она.

— Что же, теперь вы знаете, каково это — быть проклятым.

На этот раз Плюрабель готова была поклясться, что он действительно в нее плюнул.

* * *

— Вот что значит высказать все, что думаешь, — заметила Лия.

Шейлок плотнее запахнул пальто.

— Я долго готовился, — признался он.

— Твоя речь от этого нисколько не пострадала.

— Когда долго готовишься, рискуешь не произвести должного впечатления. Думать слишком

много бывает вредно. От моих слов пахнет затхлостью. Речь могла быть и лучше.

— Она и так достаточно хороша.

— И только?

— Достаточно хорошо — уже достаточно хорошо. Ты же не думаешь, будто сможешь изменить ход истории?

— Я могу хотя бы надеяться.

— С твоей стороны это было бы неблагоразумно.

— Ты бы предпочла, чтобы я промолчал?

— Я предпочла бы, чтобы ты проявил немного своего рахмонес к той бедной девушке.

— За нее не беспокойся. Она чертовски меня любит.

— Тогда, пожалуй, беспокоиться нужно за тебя.

— Думаю, тебе нечего бояться. Она не того вероисповедания.

Он не ушел сразу, а остался стоять в снегу, наслаждаясь ее близостью. Оба молчали, словно каждый ждал от другого чего-то. Первой заговорила Лия.

— Разборчивость в вопросе, кто того вероисповедания, а кто не того, не принесла нам ничего хорошего.

— Не только мы виноваты, — напомнил Шей-

лок.

— Не только. Но я имела в виду именно нас — тебя, себя и Джессику.

— О, с Джессикой все будет в порядке.

Однако последовавшая гулкая тишина сказала ему, что Лия знает: с Джессикой не все в порядке и никогда не будет в порядке.

Неужели все это время Лия скрывала от него то, что было ей известно — точно так же, как сам он скрывал то, что было известно ему? Он отдал бы все на свете, лишь бы она никогда не узнала, что дочь их предала — предала любовь, которую они питали друг к другу, предала свое воспитание и свою честь ради кого-то, ради чего-то — определение значения не имеет, — совершенно ее не стоящего.

Так, значит, Лии приходилось еще тяжелее, чем ему… Все эти годы она лежала далеко под землей, в холодной могиле, лишенная утешения исповеди или беседы, плотно обвив руками их общий позор.

Сердце Шейлока едва не разорвалось.

* * *

К тому времени как Струлович вернулся в «Старую колокольню», чтобы дожидаться известий

об операции, Шейлок уже ушел, а из гостей Плюрабель, которые до сих пор увивались вокруг нее, никто не был расположен к беседе.

Тусклый дневной свет быстро угасал. Струловича это устраивало. Видеть ему ничего не хотелось. Струлович облюбовал кружевную скамейку подальше от шатра, стряхнул с нее снег и сел, не обращая внимания на сырость. Он высадил д'Антона перед клиникой и даже не взглянул на него, не сказал ни слова. Да и сам д'Антон после столкновения с Шейлоком явно предпочитал тишину. Кажется, он немного дрожал. Впрочем, это легко объяснить страхом перед тем, что ему предстояло. Прежде чем выйти из лимузина, д'Антон взял себя в руки настолько, что произнес: «Ну вот и все. Вперед, на баррикады!» Струлович ответил молчанием. Почему жертва ведет себя непринужденнее палача, он разбираться не стал. Бравада, наверное. Такая же бравада, как его собственное пожелание, чтобы враг с криками умер под ножом хирурга. На самом деле Струловича больше не интересовало, чем все закончится. Умрет д'Антон или останется жить — не все ли равно? Что это меняет? Каков бы ни был исход, он не вернет Беатрис, не вернет ему жену, не испортит жизнь Грейтану. А д'Антон после выхода из

клиники по-прежнему останется д'Антоном. Со всей вероятностью — и с некоторым основанием — станет еще большим евреененавистником, чем прежде.

Испытывает ли Шейлок те же чувства — от сознания, что слова его ни к чему не привели? Дело не в том, что победа невозможна. Скорее просто нет такой победы, которую стоило бы одержать. Победа и поражение — одинаковая нелепость.

В обе стороны, в прошлое и в будущее, тянется линия смехотворного времени — от самого крещения христиан до самого крещения иудеев. Стал бы мир лучше, если бы первого никогда не произошло, а второе внезапно состоялось? Беатрис с Грейтаном или без Грейтана — какая разница? Галерея в честь родителей, которую Струлович так и не основал — и что с того? Искалеченная жена — не все ли ей равно, в каком мире она живет? Для Шейлока действие своевольно остановилось — действие, но не время. Время сохранило его, словно забальзамированную мумию. Может, было бы лучше, если бы время остановилось для Шейлока вместе с действием? Добился бы он чего-нибудь меньшего или чего-нибудь большего? Величайшее заблуждение из всех состоит в том, что время способно породить изменения к

лучшему.

Струлович не знал, сколько он так просидел; холод только-только начал его пробирать, когда Плюрабель объявила, что у нее есть новости. Голос дивы непривычно срывался, словно ломающийся тенорок мальчика-певчего, и вся она казалась какой-то съежившейся и нервной. Ничего не зная о том, что произошло между ней и Шейлоком, Струлович посчитал это естественными последствиями страха за д'Антона. Вот и прекрасно. По крайней мере, беспокойство посеять ему удалось. На мгновение в душе Струловича опять вспыхнула надежда, что его враг с криками умер под ножом хирурга. Однако в возбуждении Плюрабель было что-то ненатуральное. У нее есть новости, сообщила она трагическим тоном. Если д'Антон действительно с криками умер под ножом хирурга, почему Плюрабель медлит? К чему эта опереточная поза, плохо разыгранная дрожь в голосе, затрудненное дыхание, прижатая ко лбу бледная рука?

Она нарочно тянет время, подумал Струлович. Не хочет, чтобы все закончилось. Плюрабель не терпится, чтобы жизнь в ее маленьком хрупком мирке пошла по-прежнему, а Струлович со своими угрозами исчез навсегда — это он мог понять.

Но к чему театральное позерство?

Небольшая группа людей собралась в шатре, прижимаясь к обогревателям.

— В руках у меня письмо от хирурга, написанное, как ни удивительно, пять дней назад, — объявила наконец Плюрабель. Внезапно голос ее сделался ровным и злорадным, а за минуту до того печальные глаза запылали.

«К сведению всех заинтересованных лиц.

Сегодня я имел удовольствие обследовать милейшего пациента (имя вписано) с целью установить, может ли он подвергнуться обрезанию с применением зажима. Обследование показало, что проведение обрезания данным или же любым другим методом нецелесообразно, поскольку пациент уже обрезан. Насколько я могу судить, а он – вспомнить, операция была проведена в младенчестве – стандартная практика среди семей, проживающих в жарких странах.

Излишне было бы объяснять, что обрезать человека дважды невозможно.

Искренне ваш,
Пандхари Малик».

Что последовало дальше? Смех? Аплодисменты?

Второй раз за день Струлович волевым усилием лишил себя слуха. Если бывает истерическая глухота, должна существовать глухота рациональная. Зачем слушать то, в чем нет ни урока, ни почета? Зачем ронять свое достоинство, наблюдая развитие нелепой предсказуемости?

У него не хватило терпения — ни по отношению к событиям, ни по отношению к себе самому, — чтобы отыскать в памяти ту уловку, с помощью которой его выставили дураком. Никто из них не поступал согласно принципам. Струлович проиграл — вот и все, что отличало его от д'Антона. Если бы он победил, получив в качестве награды окровавленного врага, то не стал бы от этого лучше.

Удивляясь лишь тому, как мало он удивлен, Струлович ускользнул, прежде чем Плюрабель успела объявить о поражении ему в лицо. Пусть ликует без него. В «Старой колокольне» делать ему больше нечего. Жаловаться тоже не на что. Струлович был этому рад. Современное созна-

ние ощущает некоторое величие в том, чтобы попасться на чужую уловку — находит в этом подтверждение нелепости бытия.

Доволен ли ты этим, жид? Что скажешь?[70]

Доволен, подумал Струлович. Безнадежно устарел, но доволен.

Он не сразу поехал домой, а попросил Брендана, которого застал за оживленной беседой с другими шоферами, немного проехаться. Неважно, где. Предпочтительно по немощеным дорогам. Забеленный пейзаж, высокие живые изгороди и тихий хруст шин по снегу. Не возвращаться домой до темноты, до которой, впрочем, осталось недолго. Здесь ночь наступала посреди дня.

Прежде чем выйти из машины и открыть Струловичу дверцу, Брендан повернулся и подал ему письмо.

— Мое заявление об уходе, — пояснил он.

— Я это предвидел, — ответил Струлович. — Надеюсь, работать на меня было не слишком тяжело.

— Просто иногда хочется сменить обстановку, сэр. Вот и все.

— Поступайте так, как велит ваша совесть,

---

[70] Примечания: 70

У. Шекспир, «Венецианский купец». Акт IV, сцена 1.

Брендан.

Мысль, что в отсутствие бесов и дьяволов, на которых можно переложить вину, карой Брендану станет собственная совесть, не доставила Струловичу удовольствия.

Когда он наконец добрался до дома, то первым делом направился к столу и написал д'Антону записку.

«Победителю — трофеи. В знак своего расположения я распоряжусь, чтобы эскиз Соломона Джозефа Соломона доставили вам на дом. Надеюсь, удовольствие, которое он принесет тому, для кого предназначен, будет стократно вам возвращено. У вас помятый и увядший вид. Да наполнит вас живительный сок благодарности и взаимной дружбы. Не для того мы рождены на земле, чтобы вечно грустить».

Прежде чем отправиться спать, Струлович заглянул к жене и обнаружил у нее Беатрис. При виде него ни та, ни другая не проявила ни малейшей радости.

— Когда ты вернулась? — спросил он.

— Недавно.

— Все хорошо?

Беатрис поглядела на мать, как бы ища подтверждения. Последовал ли кивок, улыбка?

Как же несправедливо по отношению к ней, подумал Струлович, имея в виду все сразу. Несправедливо и слишком жестоко. Она всего лишь ребенок.

— Хорошо выглядишь, — солгал он.

— Сомневаюсь. Но в любом случае спасибо. Я цела и невредима, если ты это имеешь в виду. И не обручена, если ты это хочешь услышать.

— Для меня главное, что ты здесь.

— Для меня тоже.

Главное, что она здесь. Остальное неважно. И все же какой-то беспокойный, неугомонный демон отцовского критиканства оттеснил в сторону ту радость, которую хотелось бы выразить Струловичу.

— Если бы ты сообщила, что вернешься сегодня, избавила бы всех от массы хлопот.

— А может, я не хотела избавить всех от массы хлопот.

Своим непреклонным нежеланием прощать она напоминает Шейлока, подумал Струлович. Он почти не сомневался, какая мысль сейчас у нее на уме:

«Я отомщу еще всей вашей шайке».

Благодарности

Благодарности, на мой взгляд, не совсем уместны в художественном произведении, поскольку никогда с точностью нельзя установить и отплатить по тем долгам, что есть у писателя: какая книга, какой человек, какое воспоминание, какая забытая встреча или событие зажгли искру — если искра вообще была зажжена.

Но обстоятельства вокруг создания этого романа отличны от всех встречавшихся мне ранее — в том, что роман был мне заказан, в том, что он вырос из моего напряженного перечитывания пьесы, и в том, что я прислушивался к мыслям других и в ряде случаев принял чужие советы, пока я его писал — советы в том числе о том, стоит ли мне вообще этот роман писать.

Я не буду благодарить автора оригинальной пьесы, но я должен поблагодарить Джулиет Брук, Клару Фармер и Беки Харди из «Хогарт» за веру в то, что я могу обыграть пьесу, и моего верного агента Джонни Геллера за то, что согласился с ними.

Бесценными также были мои беседы о пьесе

и проекте целиком с моей женой и моим критиком Дженни Де Йонг, моими давними друзьями Джоном МакКлафферти и Дамарисом Палмером и относительно новым другом, до сих пор язвительным и пылким в свои 96, Дональдом Зеком.

Я прочел слишком много книг и статей о Шекспире за те полвека, что я его изучал, чтобы знать, каким книгам я благодарен более всего. В осмыслении «Венецианского купца» следующие книги или их части были для меня наиболее ценными: «Шекспир и евреи» Джеймса Шапиро, «Уилл во всем мире» Стивена Гринблатта, «Шейлок» Джона Гросса, «Шейлок и другие пьесы» Арнольда Уэскера, «Шейлок — это Шекспир» Кеннета Гросса, «Дикость обезьян» Лина Стивенса (в книге под редакцией Б. Дж. Сокола «Неоткрытая страна: новые эссе о психоанализе и Шекспире»), «Антииудаизм» Дэвида Ниренберга, «Противжизнь» Филипа Рота.